

РАССКАЗЫ, СЦЕНЫ, НАБРОСКИ

Публикация Р. Р. Алиевой-Мехтихановой,
Л. А. Евстигнеевой и М. Л. Семановой*

I

Рукопись неоконченного рассказа «О Нижегородской железной дороге» не имеет даты, но по своему материалу публикуемый набросок связан с очерками 1861 г. «Владимирка и Клязьма». Сближает их прежде всего место действия и цель путешествия автора: наблюдения в местах строительства железной дороги Москва — Нижний-Новгород. Встреча «почтарей» происходит, по-видимому, на середине пути, на Клязьме, где в конце 1860 г. Слепцов наблюдал это строительство.

В очерках «Владимирка и Клязьма» писатель дважды говорит о современном положении «почты». В Петушках еще имеются и почтовая станция и постоянные дворы, но они уже отживают свой век. Железная дорога уничтожает старинную профессию, лишает будущего «почтарей». «За негодностью, — иронически замечает автор, — о них уже никто теперь не заботится» (I, 322).

Вблизи Ундола автор очерков повстречал почтовую карету. Нарисованный им образ мрачного, сурового кондуктора близок к образу «почтаря» из публикуемого наброска. Даже лексика этих персонажей почти тождественна: «А ямщика — если не повезет — в шею. Они, анафемы, доброго слова не понимают» («О Нижегородской железной дороге»). «Анафемы!.. мало вас, дьяволы, бьют за это?» («Владимирка и Клязьма». — I, 338).

В публикуемом наброске, как и в очерках «Владимирка и Клязьма», повествование ведется от первого лица. Лицо это — сторонний наблюдатель, заинтересованный в происходящем на его глазах; поэтому он воспроизводит мельчайшие подробности встречи. Характерны здесь для Слепцова преобладание диалога над описанием и предельная сжатость в мастерстве индивидуализации двух различных по характеру персонажей.

О НИЖЕГОРОДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

В 6 часов утра пришла тяжелая почта из Москвы и встретила с нижегородской, а потому в харчевню явились два почтаря пить водку и напесли с собой столько морозу, что меня стало пробирать — я полез на печь.

Один почтарь был лет 40, высокий, худой и жесткий на вид, в старой летней фуражке, с пистолетом. Голосу у него совсем не было; вместо голоса образовалось от непрерывного, аккуратного выпивания на каждой станции и постоянного крика на ямщиков какое-то дикое рыкание, так что даже в то время, когда он молчал, в горле его слышался какой-то треск и сипение. С виду он был мрачен и суров, весь покрыт инеем, а промерзший насквозь тулуп висел на нем, как деревянный, и не гнулся.

* Р. Р. Алиева-Мехтиханова подготовила публикации: «Бабы сердце» и «В трущобах»; Л. А. Евстигнеева — «На станции московской зугунки», «В вагоне III класса», «Раннею весною...», «Концертный зал, ярко освещенный газом...»; М. Л. Семанова — «О Нижегородской железной дороге», «Охотник», «Ненастный день», «Через несколько минут по селу...», «Осенний вечер...».

Другой среднего роста, стриженный, с тупоумным выражением лица, горло его тоже, вероятно, было страшно воспалено, потому что он издавал звуки, похожие на сипение полозьев по снегу. Но несмотря на недостаток голоса, он болтал без умолку и шепелявил самым отвратительным образом. На поясе у него тоже болтался старый заржавленный кремневый пистолет без кремня.

Все спопутные кабаки и харчевни, должно быть, им были коротко знакомы, потому что как припли, сейчас же без церемонии повалились на лавку и без дальнейших околичностей прямо потребовали водки.

— Здорово, matka! — засипел один, — водка есть?

— Как не быть.

— Давай!

В это время солдатик слез с полатей и подошел к огню закурить трубку.

— Ты, кавалер, водку пьешь?

— Бывает.

— Это дело хорошее.

Причем он налил себе стакан и стал тянуть водку, как квас.

— Закуски подай! — зарычал первый.

Хозяйка сняла с полки какую-то щепу с хвостом наподобие рыбы и подала ее на тарелке.

Сипевший почтарь принялся раздирать закуску и забивать ее в рот, а сам все говорит:

— Нет, вот я тебе скажу, кавалер, было у нас 30 тысяч башкирцев... ну, уж войско, — уморное войско. Мы их все кобыляти<иками> звали. А лучше я, братец ты мой, не видал, как уральские казаки. Экий бравый народ! Matka! Что твой муж скоро помрет?

— Что ты? что ты? Бог с тобой, что ты болтаешь? Да не дай господи!

— Ну, вот, не дай господи! Умрет, я тебя замуж возьму, в Москву повезу — на тройке важно.

— Не надо мне.

— Ну, вот, не надо. Экая ты какая. Давай еще по стаканчику. Паша, выпей, братец, докажи, что ты гусар.

Паша выпил второй, закусил, хотел было поставить стакан, да вдруг спохватился, налил третий и хватил его залпом. Перемерзшее горло у него как будто отошло немного, дыхание пошло легче, но вид становился все мрачнее и мрачнее.

Солдатик положил локти на стол и, поглядывая на огонь, пускал дымок. Хозяйка возилась у печки.

Вошел еще третий.

— Саша! Поедем — готово.

— Ну те к... Дай срок! Ты видишь, я обогреваюсь, — зашепелявил Саша.

— Да пора...

— Ну что за пора — допозем. Нет, ты вот послушай, Паша, — говорил он мрачному почтарю, указывая на пришедшего. — Я у него прошусь на хлебы, 10 целковых даю — не берет. Боится, что я его жену того... Вот потеха-то. Я ему обещаюсь, что не стану трогать — не верит.

— Да ведь опасно... — заговорил пришедший.

— Слышь, Паша, говорит: опасно. Значит, боится. Так и надо, чтобы страх знал.

— Ну хорошо, да поедем же!

— Говорят, успеем. Ну, куда тебе. Теперь знаешь как покатым. А ямщика — если не повезет — в шею. Они, анафемы, доброго слова не понимают. Нет, ты, Паша, послушайся меня: не женись. Ей-богу, не же-

Судя по зачеркнутым местам рукописи, автор хотел ввести в рассказ и купцов, половых, приказчиков.

Из кратких авторских описаний, диалогов, отдельных реплик вырисовываются характерные черточки быта людей различных социальных и профессиональных категорий. В зачеркнутом куске устами «экономического крестьянина» Акиндина Тимофеева давалась такая характеристика материальных условий его жизни: «Где мне жениться? Нам дай бог с домом управиться. У нас, брат, семья какая! Шутка сказать, девять душ. Считай! — Я, да брат, да братова хозяйка, да старуха, да теперь еще у меня трое ребят, да у брата. То-то вот и есть».

Время действия в рассказе не обозначено, но Слепцов дает понять, что дело происходит вскоре после Крымской войны: на стенах второй комнаты висят портреты героев Севастополя (в рукописи зачеркнуты их имена: Нахимов, Щеголев).

Судя по заглавию и содержанию наброска, можно предположить, что писатель хотел, чтобы главным героем рассказа был «охотник» — подставной рекрут, «наемщик».

Очевидно, замысел этого рассказа возник у Слепцова во время работы над «подготовными сценами» («Ночлег», 1863). Начало этих произведений почти тождественно, повторяется также эпизод с чтением бумаги отставным солдатом (текст бумаги в «Охотнике» сокращен по сравнению с «Ночлегом»). На этом основании предположительно датируем публикуемый текст 1863 г. Можно думать, что в процессе работы над «Ночлегом» Слепцов решил выделить тему «солдатчины» в специальный рассказ. Если в «Ночлеге» роль отставного солдата невелика (внимание писателя сосредоточено на участии мужиков), то в «Охотнике» этот персонаж занимает более значительное место. Рассказ отставного солдата и реплики вступившего с ним в спор извозчика дают полное представление читателю о положении солдат в царской армии и о том, что ожидает «охотника».

Вопрос о рекрутчине беспокоил писателя в это время, что видно из «Уличных сцен» (1862). Здесь один из мужиков говорит: «Нет, брат, я свое счастье знаю. — Мое счастье, я тебе скажу, вот какое! я, друг мой, ноне по осени чуть было в солдаты не угодил. Вот ты и думай, какое оно, счастье-то мое!» (I, 51). Через два-три года Слепцов покажет это «счастье» в романе «Трудное время» (см. сцену избияния солдата. — II, 54).

ОХОТНИК

На дворе стояла оттепель. Смеркалось. По улицам кое-где бродил народ. Запоздавшие в городе мужики, лежа в санях, перекликались и мокрыми вожжами погоняли лошадей.

На самом краю города, в харчевне виднелся огонь. У крыльца, на площадке, густо покрытой навозом, стояли извозчики и крестьянские сани. Свет, полосой падавший из окна, освещал шершавые бока лошадей, угрюмо поматывающих мокрыми хвостами, и наблюдавшего за лошадьми мальчика в полушубке.

В комнате было темно, сильно накурено корешками, пахло тулунами и жареной рыбой. За маленькими столиками в разных местах сидело человек 10 гостей; а именно: городские извозчики, деревенские мужики и бабы. [В дверях отставной солдат] в лаптях, стоя у прилавка, задумчиво шарил в карманах и курил трубку; у свечи двое фабричных читали книжку и беспрестанно перебивали один другого. Мужики молча пили чай, а извозчики спорили между собой и ругали друг друга скверными словами.

Дальше еще такая же комната с красноватыми столами и портретами севастопольских героев на стенах.

Во второй комнате, в уголке, сидел за столом слепой инвалид из богадельни, в сером пальто и в узеньких белых панталонах. Инвалид пил чай и время от времени щупал рукой лежавший на столе синий носовой платок — тут ли он — и, успокоившись, робко водил кругом своими тусклыми глазами. За другими столами сидели какие-то проезжие купцы и ели селянку; два извозчика (пили) водку, и наконец еще инвалид, в таком же

ЗАПРЕЩЕННАЯ
КАРИКАТУРА, 1862—1863 гг.

- Купите, сударь, череп русского солдата.
 - Почему же именно солдата?
 - Потому что зубы вышиблены...
- Рисунок Н. Е. Рачкова (?)

Публичная библиотека
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина,
Ленинград



пальто и в таких же панталонах, без цели прохаживался по комнате. Ему не сиделось на месте. Он то придирался к своему слепому товарищу, дергал его сзади за рукав и проливал его чай, то подходил к извозчикам, униженно просил водочки и целовал у них руку, потом вдруг начинал приплясывать, делал разные гримасы и приговаривал, вздрагивая плечом:

— Ох, кости болят, ерофеичу хотят.

В первой комнате вдруг послышалась гармония, и кто-то запел в нос: «Взвейся, выше понесися». Извозчики стали утираться полами своих кафтанов и вылезать из-за стола, вошел отставной солдат в полушубке и, насыпая в трубочку из горсти табак, сказал зрячему инвалиду:

— А ты все балуешься...

— Балуюсь, балуюсь, Иван Федорович. Что делать? Такой уж я баловник с роду. Пожалуйте ручку.

Солдат протянул инвалиду одну руку и другой хлопнул его по плечи.

— О-ох, Иван Федорович, — заныл инвалид.

— Так тебя и надо, старого чёрта, — заметил один извозчик и, постукав о чайник, закричал половому:

— Эй! получай.

Инвалид подошел к своему слепому товарищу сзади и, скорчив плутуватую рожу, сделал ему из своих пальцев рога. Все засмеялись.

Мужик, шаривший в кармане, подошел к отставному солдату и подал ему бумагу, говоря:

— Кавалер. Ну-ка, прочитай-кося, что тут прописано.

Солдат взял бумагу, подержал ее на аршин от глаз, потом посмотрел в огонь, обернул бумагу к свету и начал читать сначала про себя, а после уж громко:

«Из метрических книг Благовещенской церкви села Благовещенского видно... что эконо... экономич... Что за шут! да, экономический крестьянин... сельца Большая Елань, Акиндин Тимофеев...»

Мужик глядя сбоку в бумагу, вздыхал.

— Это кто же такой, Акиндин? Ты что ли? — спросил вдруг солдат у мужика.

— Нет, меня Киндеем звать.

* < >

Немного погодя на улице загрели бубенчики, и к крыльцу подъехали сани тройкой. Половой поглядел в окно и сказал:

— Охотника привезли.

Все засуетились и бросились к окну смотреть, только слепой инвалид бессмысленно поводит вокруг своими бельмами и опять принялся за чай.

Отворилась дверь, и вошел мужик отдатчик в большом тулупе, подпоясанный, баба вошла в синей шубке, потом охотник в новой чуйке, в новой шапке, в новых сапогах, молодой, губастый такой, волосы в скобку и красный платок на шее. Следом за охотником шел молодой парень, тоже в чуйке, с гармонией.

Сели все за стол. Отдатчик спросил чаю и водки.

Почти вслед за ними приехал барин в енотовой шубе. Все встали.

Барин спросил:

— Ну что?

— Ничего. Слава богу, — отвечал отдатчик и поклонился.

— То-то, — сказал барин. — Ишь ты какого молодца тебе достал.

— Благодарю покорно, — отвечал отдатчик.

— Ну, да. Гляди! Покажи зубы! Видишь? — говорил барин, ворочая охотника и заставляя его показывать отдатчику зубы.

— Да зубы ничего, — говорил мужик. — Вот палец у него один что-то быдто того.

— Что такое палец? Где палец? Покажи палец.

Охотник протянул руку. Барин посмотрел.

— Ничего. Палец как палец. Что ж ты?

— Оно точно, да все быдто опасно. Кто его знает.

— Пустяки. Ты насчет пальца не сомневайся. У меня у самого, брат, такой же палец. Гляди сюда. Видишь? Это ничего не значит.

— Дай-то, господи, — со вздохом говорил мужик.

В это время подошел отставной солдат.

— У нас, ваше благородие, я вам доложу, был солдат, — заговорил он, пряча трубку в карман, — тоже не в зачет значился, так у него теперь вот это место, ваше благородие, шишка была как есть с кулак, ничего. Да еще какой солдат был, росту высокого, в ординарцы вышел, а шишка, я вам докладываю, вот. Так и значилось, что родимое пятно. Потому с этим родился. А пальцы это пустое дело. Такие ли у нас пальцы бывали. Это будьте спокойны.

— Дай-то господи, — говорил про себя отдатчик.

— Ах, трубочка хороша! — сказал, подойдя к солдату, извозчик. — Много ль дал?

Солдат, не глядя на извозчика, ответил:

— Эта трубка, братец ты мой, дороже тебя.

— Смотри, не обочтись.

— Солдат не обочтется.

— То-то, не обочтись. Сами не дешевле тебя.

— А насчет пальца, ваше благородие, — начал было солдат и вдруг обернулся к извозчику и закричал:

— Сами-то кто? Кто это сами-то? Губастый чёрт.

— Мало об тебя палок в солдатах обломали, — заговорил извозчик.

— Об тебя бы наломать.

— Нет, об тебя.

* Далее часть листов, по-видимому, утрачена. — Ред.

— Ну, ну, однако, вы того,— закричал на них барин.

— Да помилуйте, ваше благородие,— говорил солдат.— Неужели ж ему меня учить. Кажется, довольно учены.

— Не разговаривай, не разговаривай,— строго заметил барин.

— Что ж, как вам угодно,— сказал солдат и отошел.

<1863 г.?)

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, лл. 31, 33—37.

III

Рукопись наброска «Ненастный день» сохранилась в бумагах писателя, изъятых у него при обыске в апреле 1866 г. В III Отделении она была отнесена к «очеркам неуставленных авторов». Между тем ясно, что набросок принадлежит Слепцову, о чем свидетельствует не только его почерк, но и содержание и форма произведения.

Публикуемый этюд близок по содержанию, колориту и некоторым особенностям текста, вплоть до буквальных совпадений (разговор с парикмахером), к «Отрывку из дневника» (см. настоящий том, стр. 333—338).

Как и в названном фельетоне, Слепцов эзоповскими средствами передает в публикуемом наброске атмосферу глубокого реакционного «ненастья». Это «ненастье» периода подавления самодержавием польского восстания 1863 г. и временных неудач национально-освободительной борьбы итальянского народа. Ключами для расшифровки потаенного содержания наброска служат и серые тона, примененные для передачи петербургского пейзажа, и упоминание ряда имен современных деятелей: французского министра иностранных дел Тувенеля, итальянского президента совета министров Риказоли, автора статьи о Гарибальди в «Отечественных записках» К. К. Арсеньева и редактора «Московских ведомостей» Каткова, шовинизм которого в пору польских событий достиг своего апогея.

В правительственных кругах вызвали тревогу связи русских революционеров с участниками национально-освободительных движений в Польше и Италии. Какое-либо выражение сочувствия к этим движениям в печати было запрещено специальным предписанием властей (Дело особенной канцелярии министра народного просвещения. Секретное отношение министра народного просвещения председателю СПб. цензурного комитета.— ЦГИАЛ, ф. 773, оп. 1, ед. хр. 238). Вследствие этого Слепцову пришлось в публикуемом тексте назвать не имя Гарибальди, а имена его противников — Тувенеля, Риказоли, Каткова. Такой же эзоповский прием применен и в отношении польских событий. Называются не они, а «веселые» знамена — официальные газеты «Русский инвалид», «Московские ведомости» и другие реакционные и правительственные издания, развернувшие антипольскую агитацию.

Жестокие усмирительные «подвиги» в Польше Муравьева-Вешателя и его сподвижников, рабская по отношению к самодержавной власти позиция либералов, организовавших кампанию подачи «всеподданнейших адресов» с требованием наказать «возмутителей», находят отражение в «Ненастном дне» в таком лаконичном диалоге:

— На-ка, почитай-ка!..

— О! мерзавцы!..

— Тс! Что ты? С ума сошел?

— Рабы вы презренные!

— Сам ты раб! А это кто? видишь?..

В последних словах, как и в вопросах парикмахера, пытающегося всякими способами узнать политический образ мыслей своего клиента, уловить его настроение, писатель дает почувствовать атмосферу политического шпионажа и доносов в пору реакционного натиска 1863 г.

В другом лаконичном диалоге: «Кого это хоронят? — А пес его знает» — намек на торжественные похороны участников карательной экспедиции, убитых польскими повстанцами, которые демонстративно устраивало правительство в Петербурге. В «Северной почте» от 13 апреля 1863 г. читаем, например, в связи с похоронами корнета

Ремера, следующее: «Не первого молодого офицера хоронят в Петербурге <...> Почему отдано столько почести от государя наследника до всего воинского сословия? Потому что в лице убитого многолюдство русских отдало дань благодарности, уважения и любви защитникам родины <...> Вот наши демонстрации: мы их делаем не как в других странах — против установленных властей, а против врагов».

Подобно тому как это сделано в публикуемых ниже «Петербургских заметках», Слепцов создает в наброске «Ненастный день», как будто из разрозненных эпизодов, обобщающую конкретно-историческую картину русской жизни, глубоко погруженной в «туман» послереформенной путаницы и неустройства. В этом тумане трудно живется простому народу («От туману народу завсегда трудней бывает»). Как всегда в своих «сценах» и «зарисовках», Слепцов остро подчеркивает социальные контрасты, социальное неравенство: владельцы блестящих магазинов, ресторанов, философствующие за вкусными яствами господа-славянофилы, — и нищий, «временнообязанный» крестьянин-извозчик, безногий солдат, шарманщик. Выразительно звучат в этом контексте слова итальянской песни, мелодию которой играет шарманщик: «О, дайте мне жить!».

Образ ободранной клячи, везущей непосильную ношу, избиваемой жестоким «погонщиком», был в демократической литературе (см., например, стихи Некрасова: «О погоде»), в том числе и в произведениях Слепцова (см. ниже «Провинциальную хронику», стр. 199—200), своеобразным олицетворением тяжелого положения народа.

НЕНАСТНЫЙ ДЕНЬ

Туманное утро встало над городом. Сквозь тяжелую мглу тускло рисуются сбитые в кучу: дома, колокольни, казармы, мосты и канавы; холодной стеной стоит удушливый пар вместо воздуха; кое-где видно большое лицо пешехода, а дальше туман, все туман...

- Извозчик! отчего это туман?
- А бог его знает.
- Я знаю, что бог его знает; а ты-то как думаешь?
- Я так думаю: от народу.
- Как от народу?
- Народ ходит, дух из себя пускает, вот и туман.
- Ну, а еще что?
- Чего ж еще? Скотине, известно, легче, а народу трудней.
- Почему ж трудней?
- От туману народу завсегда трудней бывает.
- А ты сам-то чей? господский?
- Временнообязанный. Вам на что?
- Так. А ты погоняй, погоняй!

Невский проспект. Магазины, люди, курьер на хромой лошаденке.

- Поскорей! поскорей! Так ее! Под брюхо нагайкой! Валяй!..
- Кого это хоронят?
- А пес его знает.

Красивые лица, блестящие окна, штаны, конфеты, кинжалы, фрукты и книги; вакса Брюля на рыбьем жире. Безногий солдат вертит шарманку.

- О, *laschia mi vivere!* *

А вот Доминик. Стой, извозчик!

-
- *Bonjour, monsieur!* **
 - А вы уж здесь?

* О, дайте мне жить (*итал.*).

** Добрый день, сударь (*франц.*).

- На-ка, почитай-ка!..
- О! мерзавцы!..
- Тс! что ты? С ума сошел?
- Рабы вы презренные!
- Сам ты раб! А это кто? видишь?
- Мм!..



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ШАРМАНЩИК

Акварель И. И. Соколова, 1859 г.

Русский музей, Ленинград

Сидит офицер за столом и задумчиво смотрит в окно; а там экипажи снуют, ходит народ разных цветов, поет шарманка и нищий поет сладострастный романс. Здесь на столах фарфор и хрусталь и разные яства стоят; газеты, точно знамена, на палках.

— Мальчик! дай мне вот это веселое знамя!

— ...за выслугу лет, за отличие, за храбрость... явиться к торгам... за долг продается...

— Мальчик, дай, брат, другое!

— ...Господин Тувенель, Риказоли, Арсеньев, Катков...

- Нет ли повеселее?
 — Господин офицер читают.
 — Ну, дай водки!

На диване сидит господин с бородой и читает газету. Поодаль сидят еще двое. Один из них говорит:

— Петербург был всегда по преимуществу носителем той исторической лжи, которая легла в основу петровской реформы. Эта ложь необходимо должна была совершить свой исторический круговорот. И она его совершила.

Господин, читавший газету, с сердцем бросает ее и уходит.

Три часа.

— Bonjour, monsieur!*

Опять ленивые лица, серые шинели, серые тучи, черные мысли. И люди, и тучи, и мысли бегут куда-то, текут и тонут в тумане... Где-то бьют в барабан.

— Эй, берегись!

Пролетели санки.

— Экое животное!..

Едет воз, нагруженный дровами. Ободранная кляча везла, везла и стала, в недоумении раздвинув ноги.

— Ну, я вам скажу, — дорога!

— Что ж ты, брат? Бери скорей полено и бей ее по морде! Ну да. Так, так. Вот она и повезла.

— Зайти разве к куафёру побриться.

— Bonjour, monsieur! Un coup de fer s'il vous plait!**

— Мальшик! Шипси сами луси. Monsieur voudrait-il que je le coiffe à la malcontent?***

— Нет, никак не нужно.

— Ah, monsieur est donc amoureux? Et moi qui suis amoureux aussi dans ce moment. Ah, que je souffre!****

— Ну тебя к чёрту!

— Plait-il, monsieur?*****

— Ничего, ничего. Побриться.

— Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la politique?*****

— А я почем знаю.

— Monsieur est contre la République, n'est <ce> pas? Oh! La république — c'est un grand mal, monsieur*****.

— Так, так. А ты намыливай!

— L'empire — c'est le poids, comme a dit le grrrand Napoléon*****.

— Разумеется. Брей, брей!

— J'ai une délicieuse cravate pour monsieur*****.

— Не нужно.

* Будьте здоровы, сударь! (франц.).

** Добрый день, сударь! Причешите, пожалуйста! (франц.).

*** Не угодно ли господину, чтобы я его причесал под недовольного? (так называлась у французов короткая стрижка; Сленцов обыгрывает буквальный смысл слова «недовольный»).

**** А, так значит господин влюблен? И я тоже теперь влюблен. Ах, как я страдаю! (франц.).

***** Что вы сказали, сударь? (франц.).

***** Что нового в политике? (франц.).

***** Господин против республики, не правда ли? О, республика — огромное зло, сударь (франц.).

***** Империя — вот это сила, как говорил пррревеликий Наполеон (франц.).

***** У меня есть прелестный галстук для господина (франц.).

— Une cravate qui vient tout droite de...*

— Говорят, не нужно.

— Eh bonjour, monsieur**.

— Чёрт тебя дери.

Однако обедать пора. Вкусные яства готовит этот разбойник. Ну и грабит здорово. За котлету дерет так, как будто она из человеческого мяса. Молодец! Так их и надо. А то вот одна помещица была давно когда-то, так она, говорят, очень любила из маленьких детей майонез. Должно быть, врут. Хороши тоже ананасы в милютинских лавках. Неужели их ест кто-нибудь теперь? Ну, зато водка дешева. Пейте, православные, пейте господами нашему... или пойте!

<1863 г.>

Автограф. ПГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 193, лл. 1—1а. — Имеющиеся в белой рукописи незначительные зачеркнутые варианты не воспроизводятся.

IV

Публикуемая рукопись относится к известному рассказу Слепцова «Свиньи» (1864). Рукопись сохранилась в бумагах Слепцова, изъятых у него при аресте в апреле 1866 г. Отрывок, видимо, подготавливался писателем к печати, был переписан набело. Лишь в одном месте зачеркнуто три строчки, а в другом заметны колебания автора: куда поместить описание суматохи в деревне. Заключительные строки: «Мужики тем временем из кожи лезли...» первоначально помещались после слов: «Голова постоял на одном месте...»

Рукопись содержит текст сюжетно завершенного эпизода. Это сценка, рисующая в характерной слепцовской манере озабоченность попечительного начальства — станového и окружного — в связи с ожидаемым проездом через деревню высокопоставленного лица. В известной нам редакции рассказа публикуемому эпизоду соответствовало всего три фразы: «Прошло три дня. Все это время мужики из кожи лезли, старались: дорогу срывали, гать завалили хворостом и песком усыпали, мосты поправили, возле дороги канав нарыли и дерном обложили. Приехал окружной» (I, 164). Кроме того, с заключительными строчками автографа почти совпадают и следующие слова известной редакции рассказа: «Бабы чуть свет вскочили — печки затоплять, париться, а мужики детем сапоги стали мазать» (I, 165).

Почему публикуемый эпизод (отлично написанный) не попал в окончательный текст рассказа — установить не удалось.

«ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПО СЕЛУ УЖ ГРЕМЕЛИ БУБЕНЧИКИ...»

Через несколько минут по селу уж гремели бубенчики, куры и ребятишки разбегались, как полоумные, по дворам, и тройка измученных лошадей вихрем неслась к волостному правлению. В тарантасе сидели двое: становой и его письмоводитель; с козел соскочил рассыльный, отставной солдат в нанковом сюртуке, и крикнул первому попавшемуся мужику:

— Эй! голову послать сюда!

Мужики засуетились, забегали, пошел говор по селу: «кульер, кульер!»...

Прибежал десятский. Становой закричал:

— Подать сюда голову! Что вас, чертей, не дозовешься?

Десятский точно сквозь землю провалился, а по ту сторону речки видно, как голова без шапки что есть мочи бежит и брюхо у него трясется. Прибежал.

— Здравия желаю, вашескородие!

* Галстук прямо из... (франц.).

** Будьте здоровы, сударь (франц.).

— Я у тебя, у старого чёрта, всю бороду вытаскаю. Ты что же глядишь? а? Отчего на мосту перил нет?

— Помилуйте, вашескородие...

— Я тебя помилую, толстобрюхий дьявол. После за вас, скотов, отвечай. Если ты у меня к вечеру перил не сделаешь, я тебя в порошок измелю, я вас тут всех... вы у меня своих не узнаете. Пошел! — закричал становой ямщику.

Рассыльный, как кошка, вскочил на козлы, и тарантас усекал.

Голова постоял на одном месте с растопыренными руками, покачал головой и пошел.

Только успел становой уехать, — прискакал окружной.

— Эх, их прёрвало, — сказал голова, завидя тарантас окружного, и опять пошел в правление. Окружной ходил из угла в угол по комнате.

— Ну, что? — спросил он у головы, — все готово?

— Как изволили приказывать, все-с, — отвечал голова, отирая пот.

— А насчет приема распорядился?

— Как же-с. Внушил-с.

— Что ж ты им внушил?

— Да то есть, что бы, значит, стараться, как лучше.

— Ну, а еще что?

— А еще ничего-с.

— Дурак, братец. Как же я тебе говорил. Ведь говорил я тебе? Ну, не дурак ли ты?

Голова молчал.

Окружной прошелся по комнате и вдруг остановился перед головой, перед самым его носом.

— Ну, скажи ты мне, ну, как же вы будете графа встречать? Ну?

Окружной, расставив ноги и заложив руки за спину, глядел ему прямо в глаза.

Голова начал вздыхать.

— Что ж ты, братец, вздыхаешь? Вздыхать тут нечего. Отвечай же, — я тебя спрашиваю.

— Чего-с? !

— Что я тебя спросил? Ну!

— Виноват.

Окружной с сердцем плюнул и пошел опять ходить по комнате.

— Вот дубина-то! А еще голова. Неужели глупее тебя никого не нашли?

Голова стоял, опутив глаза в землю, и потел. Наконец окружной сел на окно и сказал:

— Поди сюда! Ну, скажи ты мне на милость... Представь себе... ну, вот представь, что к тебе приехал отец. Есть у тебя отец?

— Нет, помер у меня родитель.

— Ну, все равно. Представь себе, что ты встречаешь своего отца, ну, что ты сделаешь прежде всего? а? Как у вас это делается?

Голова наморщил брови, как будто старался что-то припомнить.

— В ноги что ли кланяются?

Голова спохватился.

— Это точно-с. В ноги. У нас это завсегда.

— Хорошо. А потом что?

— А потом... потом обнаковенно, значит, за вином пошлю.

— Ну, нет. Положим, что твой отец вина не пьет.

— Да уж без этого нельзя-с.

— Нет, вина не нужно.

— Это как вам угодно.



КУРЬЕРСКАЯ ТРОЙКА В ДЕРЕВНЕ

Акварель П. П. Соколова, 1869 г.

Русский музей, Ленинград

— Я совсем не то тебе говорю. Я тебя спрашиваю, как ты сам сделаешь? Например, ведь поднесешь же ты ему хлеб-соль?

— Поднесу-с.

— Прекрасно. А еще что?

— А еще мядкѹ.

— Зачем?

— Да как же-с?

— Это вздор. Совсем не то ты говоришь.

— Как угодно. Не изволите приказать, не поднесу.

— Чѣрт тебя знает. Я тебе дело говорю, а ты вздор какой-то мелешь: как прикажете.

— Да что ж, вашескородие, ведь я грамоте не знаю.

— Дурак, братец! Я тебя спрашиваю, как у вас это делается в народе. Ты мне и отвечай.

— Слушаюсь.

☞ Окружной подумал и опять спросил:

— А после того, как уж встретили, что вы делаете?

Голова опять начал вздыхать.

— Когда ты встретил своего... отца, что ты делаешь, я тебя спрашиваю?

— Это родителя-то?

— Ну да.

— Я богу молюсь.

— Зачем?

— Как же за родителей не молиться? Нам так сказано от бога, чтобы молиться за родителей.

— Нет, я вижу ты совсем дурак. Ступай вон!

Голова вышел.

Окружной еще немного походил по комнате, порылся в книгах и уехал. Мужики тем временем из кожи лезли, старались: в три дня дорогу сравняли, гать завалили хворостом и песком усыпали, поделали на избах новые коньки, на окнах резные наличники. Всю ночь бабы везде скребут и моют, стены песком трут, в огородах траву полют; старухи горшки парят, брагу варят, пироги пекут.

Накануне приезда графа рано утром, еще до свету, бабы вскочили — печки затоплять — париться, а мужики дегтем сапоги стали мазать.
<1864 г.>

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, лл. 92—95.]

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАССКАЗ «СВИНЬИ» И РУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 1863 г.

Статья П. С. Рейфмана

Один из наиболее острых сатирических рассказов Слепцова «Свиньи» появился впервые в февральской книжке «Современника» 1864 г. под другим заглавием: «Казак». Через два года, включая этот рассказ в собрание сочинений, автор указал в примечании, что в журнале название было изменено по цензурным соображениям: «... в то время он не мог явиться в печати с этим заглавием и потому назван был „Казак“» (I, 154). Сюжет рассказа прост. В Куравинское волостное правление приходит официальная бумага, предписывающая сельским властям подготовить мужиков для торжественной встречи графа Остолопова, который через несколько дней будет проезжать «по тракту, пролегающему чрез Куравинскую волость». В бумаге содержалось, в частности, такое указание: «Буде же которое-либо сельское общество в отдельности или же все в совокупности пожелают отслужить напутственное молебствие <...> или, отпрягши лошадей, везти графский экипаж на себе, то и сему также не препятствовать...» (I, 154).

Мужики понимают бумагу по-своему: начальство требует строить дорогу, чтобы господ «на людях возить». Не желая подчиняться новому незаконно («— Да где ж она показана, эта самая правила?»), мужики всем миром принимают решение «уйти в казаки», т. е. в ополчение. Свое решение мужики держат в тайне до приезда графа, которому и хотят подать бумагу — «запись в казаки». Подготовленная властями торжественная встреча нарушается внезапным появлением остановивших экипаж графа прибежавших с поля свиней, а за ними и всего сельского стада. «Запись в казаки» попадает не к графу Остолопову, «перепуганному и недовольному» происшедшим, а к окружному начальнику. Мужикам грозит расправа, дело, видимо, должно закончиться экзекуцией.

Современная Слепцову либеральная критика, обвинявшая писателя в глумлении над русским народом, над мужиками, крайне недоброжелательно оценила рассказ «Свиньи». Советским исследователям пришлось проделать большую работу, чтобы восстановить облик писателя-демократа, раскрыть особенности его творческой манеры, приемы тайнописи, которые позволяли Слепцову проводить через цензуру весьма радикальные идеи. Но рассказ «Свиньи» (наряду со сценами «Мертвое тело») до сих пор в какой-то степени противопоставляется остальному наследию Слепцова. Правда, в исследованиях о Слепцове К. И. Чуковский, так много сделавший для выяснения общественно-литературной роли писателя, отмечал, что идейная направленность рассказа «Свиньи» «совершенно та же, что в остальных его рассказах и очерках»¹. Но и К. И. Чуковский, рассматривая рассказ как шутку, бурлеск, находил нужным как бы извинять за него Слепцова. Он полагал, что такие произведения возникли у Слепцова под влиянием Н. В. Успенского и И. Ф. Горбунова: «... они не отличаются большой самобытностью и не в них отражена писательская личность Слепцова»².

А между тем рассказ «Свиньи» не только не нарушает наши представления о «писательской личности» Слепцова, но и весьма существенно дополняет их. Следует лишь

разобраться в тайнописи, столь характерной для Слепцова вообще и столь успешно примененной в данном конкретном случае.

Обращение к некоторым явлениям и фактам действительности того времени помогает расшифровать потаенный смысл рассказа «Свиньи».

В 1863 г. на страницах русских газет и журналов, в связи с польским восстанием, весьма оживленно обсуждался вопрос о народе и его политических воззрениях, об отношении народа к «престолу» — самодержавной власти. Поэтому цензура иногда пропускала такой материал, который на первый взгляд должен был быть, казалось, подвергнутым безусловному запрещению, например, некоторые сведения о крестьянских восстаниях. Так, в апрельском номере «Отечественных записок» 1863 г. была напечатана большая статья С. С. Громеки «Киевские волнения в 1855 году». Автор, в прошлом жандармский офицер, принимал личное участие в усмирении этих волнений. Описываемые Громекой события во многом напоминают рассказ Слепцова. Весной 1855 г. в связи с обнаружением манифеста, призывавшего всех русских подданных «с железом в руке и с крестом в сердце» ополчиться за отечество, в районе Белой Церкви разнесся слух о том, что производится *запись в казаки*; начались волнения, крестьяне отказались работать на барщине: «Пока нам царь не отпишет резолюции, до тех пор не пойдем на панщину: робить с нами, що хоче...»³. Никакие уговоры не действовали, вызвали войска, начались массовые экзекуции, расстрелы; лишь в одном селе, по официальным данным, 20 человек было убито и 40 ранено. Громека подробно рассказывал о волнениях, о том, что крестьяне верили будто «есть другой указ, призывающий народ в казаки и объявляющий полную свободу тем, кто запишется в их число»⁴, что они тут же потребовали привести их к присяге и составили присяжный лист⁵.

По словам Громеки, движение распространилось на многие села, народ твердо верил в существование указа о казачестве и считал, что духовенство и чиновники, подкупленные помещиками, скрывают этот указ, так как записываться в казаки будто бы можно лишь до определенного срока, а помещики хотят дотянуть до него, чтобы оставить по-прежнему крестьян в кабале. Вражда к духовенству, скрывающему, по мнению народа, указ, доходила до того, что в одном селе священников и других членов причта «заперли в церковь, держали на хлебе и воде, водили купать в реку, запрягали в повозку и погоняли кнутом, как лошадей»⁶. Еще менее веры было чиновникам: «Панам не трудно подкупить полицейских и прочих чиновников — *думал народ*»⁷. Конечно, статья Громеки написана отнюдь не с прогрессивных позиций. Подробно излагая весь ход усмиренья, автор воспользовался поводом для самопрославления, всячески подчеркивая свою распорядительность и успехи, достигнутые при помощи примененных им мер «вразумления». Попутно Громека осуждал кровавую экзекуцию, учиненную генерал-майором Б*. Но политический смысл статьи Громеки отнюдь не ограничивался рассуждениями о том, каким путем лучше водворять спокойствие среди возмущившихся крестьян. Не случайно автор напечатал свою статью в 1863 г. (через восемь лет после описываемых в ней событий) и тогда же издал ее отдельной брошюрой.

По мысли Громеки, тщательно акцентируемой на протяжении всей статьи, киевские волнения служили... подтверждением верноподданныхческих настроений народа, а их основной смысл сводился будто бы к тому, что крестьяне встали «как один человек, на мнимый призыв самого правительств», они были лишь виновны «в желании проливать кровь за своего государя»⁸, но им совершенно чужды революционные настроения (с этой целью Громека рассказывал, как крестьяне выдали властям студента, который пытался читать им прокламации). Все подобные рассуждения понадобились автору для определенных пропагандистских выводов, связанных с происходившим тогда польским освободительным восстанием. Во вступлении и послесловии Громека прямо отмечал полезность опубликования статьи именно «в настоящую минуту»⁹. Он рассматривал ее как ответ всем, кто в крестьянских восстаниях, происходивших в это время не только в польских землях царской России, но также в Литве и Белоруссии, усматривал новое доказательство недовольства народа существующей властью и мечтал об ее переустройстве на демократических началах. «Украинский народ предан русскому царю, — делал свой вывод Громека и продолжал, — пусть же никто не отворачивается от факта и знает, что выразил киевский народ своим *suffrage universel* в 1855 году»¹⁰.

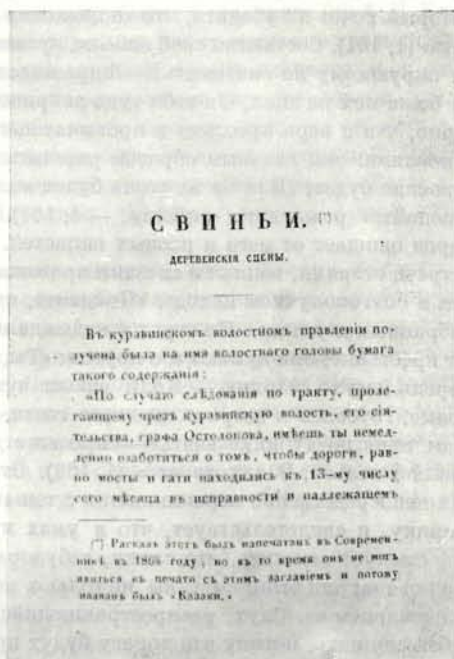
Статья Громеки, успешно делавшего в это время в качестве ответственного чиновника Министерства внутренних дел карьеру «специалиста» по польским делам, была целиком выдержана в духе официальной антипольской пропаганды. Но факты, которыми автор старался подтвердить свои выводы, далеко не целиком укладывались в реакционную схему. Вопреки намерениям Громеки, рассказ о «казаках» свидетельствовал не столько о верноподданнических настроениях крестьян, сколько о недовольстве их своим положением, вражде к правящим классам. Даже в изложении Громеки оказывается, что народ не так стремился пролить кровь за царя, как освободиться от ненавистных повинностей, соглашаясь не идти в казаки, «когда б только назначили один день барщины в неделю»¹¹. И один из усмирителей восстания, подполковник А*, мнение которого приводил Громека, не соглашаясь с ним, справедливо приписывал главную причину волнений «озлоблению крестьян противу экономических властей». Дело же об указе и о казачестве он считал побочным и не более как предлогом¹². Именно с последней точкой зрения солидаризировался по сути дела и «Современник». Его редакция обратила внимание на брошюру Громеки и в октябрьской книжке журнала поместила на нее рецензию Салтыкова-Щедрина. Отметив, что факты, сообщаемые в брошюре, довольно любопытны, Щедрин едко высмеял реакционные выводы, которые делал Громека. Конечно, прямо говорить об их сущности, дискутировать об отношении народа к царю было невозможно. Поэтому Щедрин опровергал Громеку, не раскрывая содержания его доказательств, а просто указывая, что все его рассуждения «о причинах, породивших киевские волнения 1855 года, суть рассуждения очень мало убедительные», что его доводы, будто бы эти волнения с точки зрения власти «сами по себе имели значение, заслуживающее даже поощрения»¹³, вызывают сильное сомнение. Тем самым Щедрин подводил читателя к пониманию подлинных социально-политических причин крестьянского восстания, описанного Громекой. Рецензия явилась одним из замаскированных выступлений «Современника» по польскому вопросу, направленных против официально-правительственной точки зрения. Она перекликалась с написанной примерно в то же время и запрещенной цензурой рецензией Щедрина на брошюру «Русская правда и польская кривда» и могла быть напечатана лишь потому, что Щедрин не упоминал прямо об антипольской сущности выводов Громеки.

Надо отметить, что «Современник» наносил здесь удар не только по положениям, высказанным в брошюре о киевских волнениях. Аналогичный материал весьма часто встречался в 1863 г. во многих периодических изданиях. Особенно много места занимал он в «Московских ведомостях», в заметках, связанных с польским вопросом. Газета Каткова неоднократно сообщала о волнениях крестьян в западных губерниях. Причем, как и у Громеки, доказывалось, что такие волнения — свидетельства народного патриотизма, любви к царю и вражды к восставшим полякам. Редакция изо всех сил стремилась опровергнуть тех, кто считал, что крестьянское движение «не национальное, а сословное, что оно направлено не против польских мятежников, а вообще против помещиков»¹⁴. В ряде заметок утверждалось, что «крестьяне не задумывались стать против мятежа и своею собственною силой подавляли вооруженных поляков», показав «пример изумительного благородства»¹⁵.

В то же время в периодических изданиях публиковался ряд сообщений о готовности крестьян пожертвовать своим имуществом, жизнью за веру, царя и отечество. Среди многочисленных «адресов», печатавшихся в изобилии на страницах «Московских ведомостей», не мало было будто бы принятых на волостных сходках от имени народа. Уже сам стиль таких посланий неопровержимо свидетельствовал, что к народу они не имели ни малейшего отношения. Так, в № 106 «Московских ведомостей» 1863 г. (17 мая) напечатан «адрес» от имени ямщиков пяти московских слобод. «Сердце наше преполнено скорбью и негодованием при известии о неумеренных требованиях западных европейских держав, грозящих отторгнуть от нашей империи древнее достояние России», — писали будто бы ямщики и заявляли дальше, что «для ограждения русского престола (<...> для ограждения истинной нашей веры» они «готовы жертвовать собой, детьми нашими и всем нашим имуществом».

Такого рода сообщения, которые, по мысли их авторов, должны были укреплять веру русского общества в преданность крестьянских масс царизму, редакция «Мос-

ковских ведомостей» печатала из номера в номер. Так, в одном из них опубликована заметка «Письмо в редакцию» Николая Турчанинова. Автор рассказывал об «умилительном зрелище», которое он наблюдал недалеко от Москвы. По его словам, крестьянская сходка одной из волостей единодушно вынесла приговор о вступлении «в военную службу поголовно, с отдачею императору своих домов, скота и всего имущества»¹⁶. Турчанинов елейно живописал не только любовь к царю, но и негодование народа, его «вражду к полякам». В заметке сообщалось, что решения о поголовном вступлении в военную службу приняты и крестьянами 55 селений двух других волостей. Видимо,



СБОРНИК СЛЕПЦОВА «РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ и СЦЕНЫ» (СПб., 1866)

Здесь был напечатан рассказ «Свиньи», впервые опубликованный в 1864 г. в журнале «Современник» под названием «Казак»

Титульный лист книги и страница первая рассказа

организация такого рода сходок довольно широко практиковалась властями в качестве одного из доказательств «патриотического воодушевления» народа, которое в разгар польского восстания так настойчиво пыталось создать правительство.

Рассказ Слепцова «Свиньи» противостоял этому полицейскому патриотизму и его пропаганде в литературе. Он был направлен не против народа, как утверждала либеральная критика, а против «официальной народности», против тех реакционных славословий в адрес народа, которые раздавались в связи с событиями в Польше, искажали его облик, фальсифицировали настроения и желания крестьян. В обстановке событий 1863—1864 гг. подлинный смысл рассказа легко воспринимался читателями, имевшими большой навык чтения между строк. Хронологически, как бы следуя за статьей Громеки, Слепцов рассказывает и о желании крестьян вступить в казаки, и о недоверии их к чиновникам и духовенству, и о составлении списков, и о крестах вместо подписей. Но, в отличие от Громеки, рассказывая обо всем этом, Слепцов, вслед за Щедриным, подводил читателя к выводам, противоположным тем, которые развивались в статье о киевских волнениях и в многочисленных статьях «Московских ведомостей». Не любовь к царю, не верноподданнические настроения, а чувство социального протеста,

недовольство существующими порядками, хотя и не осознанное, стихийное, движет крестьянами. Не случайно одновременно возникают слухи и о казаках и о том, что власти дорогу строят, по которой на людях ездить будут. Запись в казаки народ рассматривает как освобождение от ненавистных повинностей, решив *«последний разок послужить — дорогу сравнять, хворосту навозить, а потом в казаки»* (I, 160. Курсив мой. — П. Р.). Крестьяне, изображенные Слепцовым, не верят духовенству, чиновникам, враждебны им. «Ну, пути не будет», — говорят мужики, когда дьячок, которого просили составить списки желающих «пойти в казаки», уходит советоваться к попу (I, 162). «Это все у них одна шайка подобрана», — возмущаются они словами писаря, который хочет их убедить, что «положения-то ведь такого нет, чтобы в казаки записывать» (I, 161). Составляя свой список, крестьяне тщательно таят его от местных властей «А окружному не сказывать? — спрашивал один мужик. — Эк ты! Окружной чтобы ни боже мой не знал. Он тебя туда запрячет, что ты и не выдерешься» (I, 167). Характерно, что и вера крестьян в проезжающего вельможу зиждется не на очень прочном основании: они главным образом рассчитывают, что у графа после обеда хорошее настроение будет: «Как он из стола будет вылезать, тут вы сейчас ему под веселую руку и подайте» (речь идет о «списке». — I, 167). В то же время, возлагая надежды на графа, народ ожидает от него и разных напастей. Как на казнь собираются выделенные для встречи старики, воплем и слезами провожают их бабы. Да и сам голова не очень убежден в благополучном исходе. «Пойдемте, старички! Авось живы будем», — говорит он избранным ходокам. Но страх и надежда не единственные чувства, которые испытывают крестьяне; они думают и о другом: «Ты, дядя Матвей, не опасайся, — говорил один парень на ухо старику. — Коли ежели чуть что, выручим» (I, 165). Не случайно верховые, готовясь к встрече высокого гостя, запасаются на всякий случай дубинками: «нам тоже по дубинке взять?» — спросил его <голову — П. Р.> один. — На что? — Да как же? нельзя. В случае что» (I, 166). Это «в случае что» при упоминании о дубинках непосредственно перекликается с тем «чуть что», о котором говорил парень на ухо старику, и свидетельствует, что в умах крестьян бродят далеко не мирные мысли.

Следует отметить, что слухи, взбудоражившие население Куравина, возникли не без повода; они были вызваны не только появлением бумаги от окружного, но и самим содержанием ее. Слух, распространившийся среди баб, что приказано всем миром молбен служить, потому что дорогу будут прокладывать и на людях по ней ездить, возник, как было сказано, из «совета» (значит, распоряжения) окружного. Несколько менее определенно мотивировано зарождение слуха о казаках. Источником его послужила речь подвыпившего дьячка: «Братцы, постояим за веру православную! Что ж? Неужли ж нам перед батюшкой-царем свиньями себя показать?» (I, 156). Не совсем понятно, почему приказ о постройке дороги вызвал слова о «вере православной» и «батюшке-царе». Вероятно, не без повода, как и возникший слух о том, что будут на людях возить. Речь дьячка почти буквально повторяет те заверения в верноподданнических чувствах, которые звучали в многочисленных адресах, столь обильно печатавшихся в 1863 г. Характерно, что слова дьячка о свиньях определяют название рассказа и помогают осмыслить его. Ведь вся реакционная и либеральная печать в это время изо всех сил старалась доказать то же, о чем говорил подвыпивший дьячок. Русский народ, по их уверениям, в трудный год польского восстания стоял за веру православную, за царскую власть. Слепцов всем содержанием рассказа полемизировал с этой точкой зрения. Крестьяне не оправдывают ожиданий дьячка, они оказываются в его понимании «свиньями». Им нет никакого дела ни до православной веры, ни до батюшки-царя, они не верят властям, враждебны им. В действиях жителей Куравина нет и следа того «патриотизма», который в это время неразрывно связывала с именем народа официальная и реакционная пропаганда.

По-новому следует комментировать не только общее политическое содержание рассказа «Свиньи», но и фигуру графа Остолопова. Она сама по себе в рассказе почти не очерчена, изображается лишь суматоха, вызванная проездом графа. «Можно догадаться, что он <Слепцов. — П. Р.> изображает переполох во время приездов князей Куракиных в их село Куракино, находившееся в Сердобском уезде. В рассказе село называется „Куравино“, — сообщает исследователь А. В. Храбровицкий¹⁷. Однако это пред-

положение ничем не доказано и представляется нам неосновательным. Слишком уж велика суматоха, вызванная проездом графа. Именiem Куракино (оно же Надеждино), о котором пишет А. В. Храбровицкий, владел в то время действительный статский советник князь Алексей Борисович Куракин. Он часто посещал имение, жил в нем, собрал там коллекцию картин¹⁸ и, конечно, был хорошо известен крестьянам и местным властям. Вряд ли его приезд мог вызвать такой большой переполох. Да и остальные князья Куракины к середине XIX в. никакой важной роли в управлении страной уже не играли. В одной из записок конца 60-х годов о князьях Куракиных сообщалось, что в настоящее время «ни один из них не занимает поста в высших степенях государственной службы»¹⁹. А между тем известие о прибытии Остолопова (по А. В. Храбровицкому, одного из Куракиных) воспринимается всеми как совершенно чрезвычайное происшествие. О нем предупреждают за несколько дней, причем не частным, а административным порядком, приказывают спешно приводить в порядок дороги, мосты, встречать графа хлебом-солью, служить молебн о его здравии, везти на себе его экипаж. Перед приездом графа путь проверяют исправник, становой, окружной. Последний приветствует графа подобострастной верноподданнической речью: «Вассс..., — зачастил окружной, — осчастливьте! Народное чувство, вассс... дерзнули...» (I, 169).

Суматоха, вызванная проездом высокопоставленного лица, усилия местного начальства организовать ему пышную встречу описываются Слепцовым и в опубликованном выше отрывке, не вошедшем в окончательный текст рассказа. Все это представляется чрезмерным, неоправданным при встрече местного землевладельца, приехавшего в свое имение. Наконец, самое главное, граф Остолопов, о котором идет речь в рассказе Слепцова, не приезжает в Куравино, а *проезжает* через него. В извещении о его прибытии говорится, что граф следует «по тракту, пролегающему чрез Куравинскую волость». Куравино вовсе не его имение, а лишь село на пути следования, где он «во время перемены лошадей» должен был по первоначальному плану «иметь обеденный стол», а по



ДЕРЕВЕНСКИЙ СТАРОСТА

Литография с рисунка И. Пospelова, 1880 г.

Исторический музей, Москва

измененному только «чай кушать» (I, 154 и 168). Однако нелепо менять лошадей и обедать или пить чай в селе, в котором находится собственное имение. Все это заставляет признать неосновательность мнения А. В. Храбровицкого, отождествившего графа Остолопова с одним из князей Куракиных.

Но как раз в том самом 1863 г., с событиями которого связан рассказ «Свиньи», по России путешествовало одно высокопоставленное лицо, проезд которого действительно вызывал везде суматоху, подобную описанной Слепцовым. Его прибытие могло бы объяснить и слова подвыпившего дьячка, и приветственную речь окружного, и инструкции об исправлении дорог и мостов, о молебнах и хлеб-соли. Путешественник этот — наследник престола, великий князь Николай Александрович. Летом и осенью 1863 г. он совершил поездку по России, в частности по ряду приволжских губерний. Путешествие широко освещалось на страницах газет. Особенно много внимания ему уделяли «Московские ведомости». Они поместили девять больших статей, в которых подробнейшим образом описывался путь наследника. Каждая из статей печаталась в нескольких номерах и иногда на целой полосе. Сообщения о поездке великого князя занимали с июля по октябрь одно из основных мест в газете Каткова, уступая первенство лишь польскому вопросу. Наследник путешествовал, правда, в основном на пароходе, но часто он и его свита ехали и в экипажах. Так, более 200 верст проехали они по тракту из Костромы в село Иваново Владимирской губернии и обратно. В описаниях «Московских ведомостей» встречаем мы те же детали, что и в рассказе Слепцова: здесь и дороги, посыпанные песком, и хлеб-соль в каждой деревне, и молебны о здравии наследника, и прочувствованные «патриотические» речи. Причем все эти сообщения в «Московских ведомостях» должны были иллюстрировать единство народа и «царя-батюшки», верноподданические чувства, всенародный подъем, вызванный событиями в Польше. «Одно горячее чувство владело в эту минуту тысячами <...> Хватались за экипаж, и сзади и спереди слышно было: скажи отцу своему как мы его любим! Скажи, что все мы пойдем на врагов, все до единого», — писал корреспондент «Московских ведомостей» о встрече в Ярославле²⁰. Любопытно, что в опубликованном выше неизвестном отрывке из рассказа Слепцова, окружной, пытаясь подсказать сельскому голове правильные распоряжения «насчет приема» именитого гостя, советует ему поступать так, как если бы он встречал «отца родного». Почти несомненно, что в лице проезжавшего через Куравино графа Остолопова Слепцов изображает великого князя.

Заметки о поездке наследника занимали наравне с сообщениями о польских событиях центральное место в кампании официально-полицейского патриотизма, широко проводившейся в 1863 г. Рассказ «Свиньи» противопоставлен этой кампании. В нем (особенно в ненапечатанном отрывке) ясно показано, как готовились властями проявления « всенародного верноподданического патриотизма ». « Свиньи » не просто рассказ о каком-то конкретном случае (даже если он и имел место) и не забавный бурлеск. Произведение Слепцова порождено общественно-политической обстановкой 1863 г. и проецируется на эту обстановку. Происходящие в рассказе события мотивированы и отражают в сатирических образах не случайные, а характерные явления жизни того времени. На первый взгляд, кажется, что рассказ построен по принципу: ничтожное событие рождает самые нелепые и фантастические слухи. На самом деле принцип построения совсем иной. Слепцов противопоставляет два разных, совершенно чуждых друг другу социально обусловленных восприятия действительности. В осмыслении правящих классов лошадей выпрягают, чтоб выразить чувство преданности и любви, в осмыслении народа — чтоб на людях ездить, как, впрочем, ездили и ранее. Для первых ополчение — свидетельство верноподданического патриотизма, для второго « казаки » — мечта о вольной жизни, об освобождении от тяжелых повинностей. В народе, который изображает Слепцов, нет и следа « патриотических » чувств и воззрений, приписываемых ему реакционными публицистами. Подлинные же чувства народа, говоря словами рецензии Щедрина, с точки зрения власти, никак не заслуживают поощрения. Все это определяет значение рассказа « Свиньи » как одного из замаскированных выступлений революционно-демократического лагеря по польскому вопросу, против реакционной шовинистической пропаганды, борьбу с которой Слепцов продолжал и в повести « Трудное время ».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ К. И. Чуковский. Люди и книги. М., 1958, стр. 241 (ср. со вступ. статьей к Соч. Слепцова. М., 1957, т. I, стр. 27).

² Там же.

³ «Отечественные записки», 1863, № 4, стр. 653.

⁴ Там же, стр. 668.

⁵ Там же, стр. 669.

⁶ Там же, стр. 673.

⁷ Там же, стр. 670.

⁸ Там же, стр. 691—692.

⁹ Там же, стр. 650.

¹⁰ Там же, стр. 693.

¹¹ Там же, стр. 655.

¹² Там же, стр. 662.

¹³ «Современник», 1863, № 10, стр. 324 (ср. Щедрин, т. V, стр. 338—342).

¹⁴ «Московские ведомости», 1863, № 92, от 30 апреля.

¹⁵ Там же, № 105, от 16 мая. — Аналогичные материалы в передовой «Московских ведомостей», 1863, № 170, от 4 августа; в статье М. О. Кояловича в «Русском инвалиде», 1863, № 91 и др.

¹⁶ «Московские ведомости», 1863, № 99, от 8 мая.

¹⁷ А. В. Храбровицкий. Русские писатели в Пензенской области. Пенза, 1946, стр. 65.

¹⁸ См. статью «Село Надеждино и архив кн. Ф. А. Куракина в 1888 и 1890 гг.» — «Русская старина», 1890, № 10, стр. 236—237.

¹⁹ «Герб князей Куракиных». — «Всемирная иллюстрация», 1869, № 43, стр. 271.

²⁰ «Московские ведомости», 1863, № 159, от 20 июля.

V

Публикуемый набросок, сохранившийся в бумагах Слепцова, изъятых у него при аресте в 1866 г., не поддается точной датировке. Судя по характеру рукописи, он относится к первой половине 1860-х годов. Печатаемый нами текст является этюдовой заготовкой или началом рассказа в характерном для Слепцова жанре «сценки».

«ОСЕННИЙ ВЕЧЕР...»

Осенний вечер. Небольшая 4-хугольная комната с белыми стенами и маленькими окнами. На окнах — горшки с засохшей геранью. В углу — кровать. У одной стены — старый деревянный диван, у другой — шкафчик и лежанка. На шкафчике — часы с чугунными гириями на длинных веревках и розаном на циферблате. 7 часов. На лежанке сидит только что проснувшийся старец в долгом кафтане и задумчиво смотрит в окно. На дворе шумит дождь. В комнате тихо, пахнет деревянным маслом, перед образом чуть-чуть горит лампада.

— О-ох, господи помилуй! Господи помилуй! — зевая бормочет про себя старик.

— Боже! Очисти мя грешного.

Затем встает, потягивается и кряхтя поправляет лампаду.

— Боже! Боже мой! Милостив буди мне грешному яко согреших... Ишь ты! Васька-то! Спи-ит. О-о-ох. Где она тут табакерка-та? О-ох, старость. Да. Грехи... Грехи наши, а вот она! Грехи наши тяжкие. Ну-ка понюхаю. Господи помилуй!.. М-м (нюхает табак). М-м. Так, так. Забирай! Забирай!

— О, пропади ты! М-м! А — вот так, так. О, господи! Что это будет? Ну, его совсем (кладет табакерку с платком на стол и в раздумье стоит среди комнаты, глядя в пол и подперевшись в бока руками).

Между тем проснулся кот и лениво перевортывается на спину. Старик, оглохнув от табаку, несколько минут стоит неподвижно, потом начинает разговаривать с котом.

— Ага! Проснулся! Вставай, вставай! Что валяешься! Скоро к завтрашнему ударять станут. Васька, слышь, что ли? Вставай, разбойник. Ох, согрешили мы с тобой! (прохаживается по комнате, не зная за что взяться).

<1860-е годы>

Автограф. ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, ед. хр. 182, л. 65.

VI

В декабре 1880 г. на страницах петербургской газеты «Минута» были опубликованы два ранее неизвестных произведения Слепцова — рассказ «Бабье сердце» в № 4, от 4 декабря и сцена «В трущобах» в № 12, от 13 декабря.

Ежедневная «политическая, общественная и литературная» газета «Минута» к тому времени только что начала издаваться. Ее первый номер вышел 30 ноября 1880 г. Основал газету и в течение нескольких лет был ее издателем-редактором И. А. Баталин (1844—1918), сотрудничавший ранее в «Биржевых ведомостях» и в «Петербургской газете». В литературно-журналистских кругах было известно о близости Баталина к III Отделению и сменившему его Департаменту полиции. Основанная им с коммерческими целями газета сразу же заняла свое место среди тех органов охранительно-бульварной печати, которые были сатирически обобщены Щедриным в «Письмах к тетеньке», в образе газеты «Помои» (см. Щ е д р и н, т. XIV, стр. 450 и комментарий С. А. Макашина, стр. 612).

Появление в «Минуте» произведения писателя-демократа следует объяснить, с одной стороны, случайностью, доставившей изданию возможность приобрести рукописи Слепцова, с другой стороны, вероятно, стремлением редакции привлечь к новой газете внимание широких кругов читателей. Но цель эта не была достигнута. Рассказы остались незамеченными. Этому обстоятельству способствовал и тот факт, что помещены были рассказы в декабрьских номерах «Минуты». Официальная же подписка на газету была объявлена лишь с 1881 г., и номера 1880 г., не предусмотренные ранее, были разосланы подписчикам в виде особых приложений, вышедших весьма малым тиражом.

Публикация рассказа «Бабье сердце» в «Минуте» сопровождается следующим примечанием редакции газеты: «По смерти нашего талантливого жанриста В. А. Слепцова осталось несколько ненапечатанных сцен у одного из бывших сотрудников „Современника“ г-на С. Эти сцены приобретены редакцией „Минуты“». Слово «несколько» указывает, что приобретено было больше двух произведений. Об этом же свидетельствует редакционное примечание к сцене «В трущобах», в котором сказано, что сцена эта принадлежит к «серии» ненапечатанных произведений Слепцова.

Однако на страницах «Минуты» появилось только два названных выше рассказа.

Что же касается упомянутого редакцией «г-на С.», одного из бывших сотрудников «Современника», то возможно, что речь идет об А. Я. Панаевой-Головачевой, которая, как известно, печаталась в «Современнике» под псевдонимом: *Н. Станицкий* и *С***. Со Слепцовым ее связывали близкие дружеские отношения. В редакционном примечании к сцене «В трущобах» указана дата ее написания — 1866 г., сообщенная, несомненно, тем же бывшим сотрудником «Современника», у которого были приобретены слепоцковские рукописи. Вероятно, и рассказ «Бабье сердце» написан в том же 1866 г., незадолго до ареста Слепцова по каракозовскому делу в апреле этого года.

Хотя автографы опубликованных в «Минуте» рассказов Слепцова — они напечатаны с его полной подписью — не известны, принадлежность этих произведений автору «Трудного времени» не вызывает ни малейшего сомнения. Как известно, большинство произведений Слепцова — это жанровые сцены, составленные из нескольких сценок, как рассказы в рассказе, или рассказы, в которых преобладает диалог. Сцена «В трущобах», состоящая из нескольких сцен, находится в одном ряду со «Сценами в полиции», «Мертвым телом», «Сценами в больнице» и др., а в рассказе «Бабье сердце» использован прием «рассказа в рассказе», встречающийся в «Ночлеге», «Спевке», «Вечере», «О Нижегородской железной дороге» и др.

В обоих произведениях проявилась чисто слепцовская манера конкретного и краткого изображения. В его рассказах и очерках действие обычно происходит в местах скопления трудового люда: в трактирах, на постоянных дворах («Ночлег», «Владимирка и Клязьма»), в больнице («Сцены в больнице»), в людской («Вечер»), на железной дороге и т. д. В рассказе «Бабье сердце» действие происходит на постоянном дворе, в сцене «В труппах» — в кабаке.

Речи персонажей даны Слепцовым с присущим ему мастерством языковой характеристики, умением передать богатство интонации живой разговорной речи представителей разных социальных слоев.

БАБЬЕ СЕРДЦЕ

Большая, грязная изба с широкими по стенам лавками, заменяющими нары, на которых лежат, во всевозможных положениях, человек 10 рабочих крючников. Мириады мух летают по всем направлениям и жужжат свой гадкий, сонливый концерт. В одном углу, вслед за продолжительным зевком, слышится что-то вроде песни. И затем удар по лбу и очень крепкая брань, заменяющая посмертную внушительную речь убитой мухе. В другом проводится, особого рода, рассыпчатая нота и певец, молодой парень Филипп — садится на постели. На прилавке у печки лежит, вверх лицом в соблазнительном, сонном неглиже, осыпанная мухами, кухарка и сопит на всю избу.

— Устюха-то воюет! — высказывает один крючник.

— Воюет, — сонно проговаривает Филипп, нехотя подходит к столу и зачерпывает из жбана ковш квасу.

— Одне-то мухи, — ворчал Филипп, выливая квас в лохань.

— Устюха! Устюх! Экий чёрт, как дрыхнет... Устюха!! — орет он на всю избу.

Устюха быстро вскакивает.

— Принеси кваску! — командует Филипп.

— А, расстреляло бы вас! И уснуть-то не дадут, — ругается Устюха, с трудом поднимаясь с прилавка и подходя к жбану. — Есть ведь еще квас-то, хватило бы еще напиться-то.

— Пей сама, с мухам-то, — ворчит Филипп.

— И ты выпьешь; не велика фря, — заканчивает Устинья, хлопнув дверью.

— И какие, братец ты мой, эти бабы задорные, что кажется... диковина! Другая, дьявол, и вся-то смышь, а так кошкой в глаза и кидается; так вот, кажется, съест тебя и норовит, — рассуждал по уходе Устиньи Филипп.

— Это уж у них нрав такой, потому как силишки у них нет, воли таперича тоже муж али там свекор не дают, ну, вот она, значит, и злобится, — сказал старый крючник.

— Да и в рассудке-то она не то что наш брат-мужик, — подсказал из другого угла Павлуха.

— И в рассудке тоже, да! — согласился старик.

— Ежели ты теперь бабу в озорь вгонишь, беда! — отозвался снова Павлуха, подходя к старику.

— Потому баба дура и рассудка понимать не может. Отчего теперь у нас по деревням дележ? Живут холостые ничего, а как женятся, так и давай делиться. Отчего, как не от баб?

— Понятное дело, от баб, — согласился старик.

— Пойдут у них смуты да руготня: то горшок не тут поставили, то ребятишкам своим каши дала, а мои голодом мрут... да и чёрт их не разберет.

Устина приносит квас.

— Такой народ уж, братец мой, не сообразный, — рассуждал старик. — Это верно, что не сообразный. И ничего они, в этом своем дурачестве, понимать не могут. Как есть, значит, полоумные. Я тебе что обскажу, дядя Михей?.. — погоди, дай только кваску выпить. Был я, братец мой, — начинает Павлуха, выпив четыре ковша квасу, — мальчонко лет шестнадцати. Только и послали меня в правление оброк снести, потому как батюшка ходил тогда по портным и работа была у него спешная, к свадьбе, а родительница на ту пору маненько разнедужилась; говорит: поди ты, Павлушка, снеси в правление оброк. Ну, ладно, пошел. Мороз, голова, страшный, и опять же вьюга такая случилась на ту пору. Насилу-насилу дошел до правления-то. Тут опять неладно: старосты нет, по деревням уехал за оброком тоже. Вот я приехал в правление-то дожидаться, да и задремал, потому назябся, в тепле-то и расшпарило. Задремал я, братец ты мой; а деньги-то у меня были в пазухе, да все, знаешь, медняки и завязаны в худом платчишке. Вот как я задремал, деньги-то у меня и выпади из-за пазухи-то; платчишка то прорвался, они, знаешь, потому-то и покатились, да пятак серебра упади под пол. Искал, искал его, нету и шабаш. Так, значит, без пятака серебра этих денег у меня староста и не принял. Ступай, говорит, принеси все, потому, говорит, ежели я таперича с одного недополучу пятачок и с другого пятачок... что ж это такое будет? А за пятачком, говорит, мне к вам в деревню не ехать. Так я и пошел домой. Иду да реву; думаю, что будет. Пришел, уж смеркалось; огни зажгли; девки на беседу собираются. Прихожу, братец мой, в избу... И век мне этого, кажется, не забыть!! Родительница сидит и придет, а сестра собирается на беседу. Вот только родительница и спрашивает: Отдал, — говорит, — оброк? — Нет, — говорю, — не отдал, — а сам реву.

— Что же, — говорит, — ты не отдал?

— А так и так, — говорю, — пятак серебра потерял.

— Как так! — говорит и поднялась, схватила она, дядя Макей, со стены черессedeлишник и ну меня зваривать; порола, порола, замучилась, села, пошла опять ругаться. Я реву. Потому, что супротив родительницы сделаешь? Мать, значит! Ну, вот, ругалась, ругалась, да опять за черессedeлишник, да опять драть. Устала опять, села ругаться... да всю ночь, голова, эдак-то: поругается, да опять за черессedeлишник, устанет; опять ругаться; напоследях я уже и реветь отстал, потому стал у сердца словно пых какой: не крикнуть, недохнуть. Так уж третьи петухи пропели, сестра с беседы пришла; тогда только маленько старуха очуствовалась, что за пятак серебра она, значит, так тузила меня. Спина-то, голова, вся лоскутьями сошла; две недели я, значит, с печи не слезал. Так вот оно што! Баба, как остервенится, с ума сойдет, ничего не помнит и не чувствует — кровь пролить может.

— Это что же, выходит, за мать! Это зверь лютый, выходит, а не мать, — сказал Филипп.

— Нет, не зверь лютый, а, значит, человек такой горячий, что сам себя помнить не может, когда в горячку взойдет, — объяснил Павел.

— Ну, а отец-то что же? — спросил Филипп.

— А отец, братец мой, пошпунал ее порядком. Пришел он тогда с работы, на другой день. Я лежу. Вот подходит он ко мне... Что ты? — говорит. Я говорю: ничего. Да и не стерпел, как зареву, зареву! Он и устался на меня. Я кое-как это, знаешь, сдержался, перестал реветь-то, да и говорю: Дай мне, батюшка, пятак серебра взаймы. — На что, говорит, тебе? — Отдать, — говорю, — матери, потому как я пятачок серебра потерял, и она меня сегодня за него целую ночь была черессedeлишником... Тут я опять-таки не мог удержаться: заревел, потому так горько сделалось, что уж и



ТИПЫ КРЕСТЬЯН

Рисунок А. А. Попова, 1860-е гг.

Третьяковская галерея, Москва

не знаю. Вот отец заворотил у меня рубашку, поглядел мне на спину; а у меня, знаешь, мясо-то лоскутьем так и висит. Как он ахнет, да к ней, к матери-то, знаешь. — Ты что, — говорит, — злодейка, делаешь? — Я, — говорит, — сейчас тебя с одного разу убью и сам за тебя в Сибирь пойду, потому, — говорит, — ты кровь сыновью пьешь; ты, — говорит, — хуже волчицы... и пошел, и пошел!.. схватил, братец мой, он ее за косы, переволок через всю избу к порогу да возжами ну ее садить... тоже так остервенился, что, кажется бы, он убил ее тогда до смерти; да, спасибо, помешал сусед; пришел на тот случай и отнял, а то бы тоже беда.

В избе было тихо. Все находились под влиянием рассказа.

— Вы тоже, ягоды, хороши... — молвила, наконец, кухарка. — Другой готов жену-то до смерти забить; благо сила есть, так и давай тузить; особливо пьяница попадет: сам из кабака нейдет, из дому все тащит, а жена майся... уж отстаньте-ко вы, Христа ради.

— Да ведь, не все мужики пьяницы, есть и бабы... что ты больно на мужиков-то указываешь. Ваша сестра тоже, брат, не поддастся пить-то.

— Некогда нашей-то сестре пить-то. Только и свету видишь, что в девках; а как вышла замуж, так и пошли беды да горе; в большую семью попадешь, так то свекровь тебя лает, то золовки, то муж дурак али пьяница какой, буян, наваянется; у всех живешь под началом, всех боишься; слова, другой раз, сказать, не смеешь; так вот тебя все и шпыряют; особенно, коли бабенка тихая попалась; кидаются на нее ровно, прости господи, на мокрую мышь.

— А в одиночестве и еще того не слаще: то робятишки кричат, то скотина не уряжена, то изба не топлена... все дело, да забота; а мужику что? Завалился на всю зиму на печь и лежит, как боров. Поневоле дурь в голову лезет.

— Ну что ты мелешь-то, что мелешь! — мы про Ерему, а она про Фому, — мы говорим, что бабы задорливы, ужиться не могут друг с дружкой, да лаются с пусту; а она бобы разводит: заботы, вишь, бабе много. Сказано баба, так баба и есть, — толковал Филипп.

— Бабе-то не грех и поругаться, потому участь ее такая горькая; все на ее, поневоле зло разберет. А вы, мужики — дураки, напьетесь да деретесь, так это ничего?

— Дура ты бестолковая... — начал было Филипп.

— Дурак ты бестолковый, пьяница!.. — загорланила Устюха, но в избу вошел приказчик одного местного купца и прервал начавшуюсябрань.

— Устюха, Устюха, постой! Что ты? — обратился он к ней.

— Ничего. Так, проехало, — ответила Устюха, начиная возиться с горшками.

— Ах ты, волк те ешь, а! Да она у вас, братцы, воин, — обратился он к крючникам.

— Пожалуй, спускай им, они запрягут, да и поедут, — ворчала Устюха, задвигая горшки.

— Молодец, Устюха! Не поддавайся им, — шутил приказчик. — Ну вот что, робяты, — обратился он к крючникам, — Гальот приплыл с мукой. Хозяин прислал: коли по три копейки с куля берете, так ступайте выгружайте, а то так в Кривоногову артель пойдю.

— Дешево, — говорили крючники.

— А далеко ли носить-то? — спросил старик.

— Сущие пустяки. Гальот приплыл к самому амбару.

— Все-таки дешево. Прижимка нашему брату, — толковали крючники.

— Ну, да ведь уж теперь не у работы. Делать нечего, робяты, — рассуждал старик. — Сейчас што ли выгружать-то? — обратился он к приказчику.

— Сейчас, сейчас, собирайтесь.

— Ладно, пойдем, делать нечего, авось когда-нибудь наверстаем, — толковали, собираясь, крючники.

Скоро изба опустела, и оставшаяся Устюха, задвинув в печь ведерные горшки, завалилась на лавку и захрапела на всю избу.

<1866 г.>

VII

Сцена «В трущобах» — второе неизвестное произведение Слепцова, опубликованное в газете «Минута», 1880, № 12, от 13 декабря (см. выше вступительную заметку к публикации сцены «Бабе сердце»). Печатаая это произведение, редакция газеты снабдила публикацию следующим подстрочным примечанием: «Помещаемая сцена В. А. Слепцова принадлежит к серии ненапечатанных его произведений. Она написана в 1866 г. и не попала в „Современник“ за прекращением в том году журнала. Воспроизводя картину трущобных нравов, автор, конечно, не мог придать ей изящный колорит, но это выкупается реальностью и талантом». В этой оговорке об отсутствии «изящного колорита» в произведении писателя-демократа отразились направление и характер «благонамеренной» газеты.

В ТРУЩОБАХ

Внутренность кабака: налево от входа — буфет, на котором стоит бочонок вина; за буфетом сидит виноторговица — толстая, растрепанная баба, лет пятидесяти; против буфета, палево от входа, по стене два окна, около которых прислонена к стене скамья; поваленные друг на друга ящики образуют из себя стол; из буфета дверь в другую комнату. На лавке, около окна, схватив голову руками, охает и стонет Капустин — мужик в рубище; у стола, на лавке, полулежит Авдотья — женщина, одетая в изодранное ситцевое платье.

А в д о т ь я (*поет слабым голосом*). «Что несчастная девчоночка на свете... девка рождена!..»

В и н о т о р г о в и ц а. Что хайло-то дерешь? Дьявол! Ну?

А в д о т ь я. Не мешай, тетка Марья!.. «Ай да при кручине...»

В и н о т о р г о в и ц а. Перестанешь ли ты, ведьма?.. Расстреляй-то горой! Целый день только ее и слышно — паскуда! Головушку всю расхватило... орет! (*передразнивая*) А-а-а! Тыфу ты, бесстыжие зеньки!

А в д о т ь я. Ха-ха-ха! Веселая голова, значит! Вот что! А ты, тетка Марья, не ругайся; потому, я первый твой покупатель!

В и н о т о р г о в и ц а. Легко ли, голова, первый покупатель!

А в д о т ь я. А-то не первый, скажешь?.. мало тебе я пропиваю?

В и н о т о р г о в и ц а. А я за вас мало передавала? Всякого будочника, как свинью какого, угощаешь... а из-за кого всё?

(Входит Архипов — прогнанный приказный, в оборванном, крашенинном халате и триповой шапке; за ним следует Бурлак, в холщевой рубаше и лаптях, за плечами у него котомка).

А в д о т ь я. Становой идет, смирно!

А р х и п о в (*к Бурлаку*). Покупай ты, братец мой, с первого разу, сейчас, косушку! (*к виноторговнице*) Марья Петровна, косушку!

В и н о т о р г о в и ц а. Деньги давайте (*встает*).

Б у р л а к (*вынимает кошелек*). Почем косушка-то?

В и н о т о р г о в и ц а. За каку косушку хватишься: есть косушка — гривенник, есть — и двенадцать копеек.

А р х и п о в. В двенадцать давай!

Б у р л а к. Будет, в гривенник!

А р х и п о в. Ты, братец, этого дела не смыслишь, так и не толкуй! Выпачивай, знай, четыре гривны (*Бурлак со вздохом отдает деньги. Архипов берет косушку, несет ее на стол и садится на лавку*). Будь здоров! (*пьет и выливает из косушки остаток в стакан*). Пей?!

К а п у с т и н (*к Бурлаку*). Братишко, а братишко!

Б у р л а к (*оборачиваясь, смотрит на Капустина*). Ась?

К а п у с т и н. Оставь, братишко, капельку; пусти душу на покаяние (*Бурлак отворачивается. Капустин встает с лавки и подходит к нему*). Сделай милость, братишко! Будь отец родной! Оставь капельку. На, вот, закусочки (*достает из-за пазухи луковицу*). Закуси! (*Бурлак пьет. Капустин жадно следит за ним, приговаривая*): Сделай милость, братишко! Вся душенька сгорела!

Б у р л а к (*отдает Капустину недопитый стакан*). На, охмелись! (*закусывает луковицею, достает из котомки хлеб и начинает есть*).

К а п у с т и н. Спасибо! (*берет обеими руками стакан, с трудом подносит его ко рту, нервно вздрагивает всем телом, пьет, рыгает и закрывает рот руками*).

В и н о т о р г о в и ц а. Ну! Козла драть!.. Вон! (*Капустин убегает*).

А р х и п о в (*подходит к буфету*). Папиросочку, Марья Петровна!

В и н о т о р г о в и ц а. Давай копейку!

Архипов. За мной будет, отдам (*показывает на Бурлака*). Вишь, доход сидит!

Виноторговца. Все вы так: в долг да в долг, а после... (*дает папироску*).

Архипов. Не сбегу с конейки-то! Что больно строга стала? (*закуривает и идет к столу; садясь, обращается к Бурлаку*). Ну, мила голова, сказывай теперь, какое твое письмо будет: к кому и как, и что, и почему, все как есть.

Бурлак (*с трудом проглатывая кусок хлеба*). А пиши ты, таперь, перво-наперво, родителям (*откашливается*). Пиши: так и так, значит, Петру Сидорычу от сына вашего Трофима...

Архипов. Да, этому нечего учить, знаем. Сказывай настоящее-то дело в чем; как и что... понял?

Бурлак. Понял!.. и ветра, пиши, смяли все дело... насилу из харчей выбился и денег таперича у меня гроша нет и любезные родители... а... а...

Архипов. Знаю, знаю, письмо значит, надо писать жалосливое, чтобы в слезы ударило... так?

Бурлак. Да, уж, чтобы слезы прошибли.

Авдотья (*к Архипову*). Становой, дай покурить-то?

Архипов (*к Авдотье*). Не мешай! (*К Бурлаку*). Могу и так, только, брат, за такое письмо такая и плата будет.

Авдотья. Архипов, дай папиросочки-то?

Архипов. Сказал тебе не мешай, дьявол!

Авдотья (*плюет*). Тьфу! Ты, чёрт гнилой! (*отворачивается*).

Бурлак. А ты что бы взял? (*снова начинает есть хлеб*).

Авдотья (*к Бурлаку*). Что ты с ним связываешься! Он и писать-то не умеет; он только обманывает вашего брата.

Архипов. Тебе ли говорят, отстань?

Виноторговца. Дунька! Отстанешь ли ты, ведьма?

Архипов (*к Бурлаку*). За такое письмо полтинник, меньше взять нельзя!

Бурлак (*перестает жевать*). Ай парень! Полтинник! Чтой-то больно дорого?

Архипов. А то же вот! Ты что думаешь об этом об письме-то? Перво дело я голову должен ломать над ним, а потом еще умеючи надо и голову-то ломать. Поди-ка, попытай, отдай другому, так он тебе и наврет.

Виноторговца. Это верно! На все сноровку надо.

Бурлак (*в раздумье*). Дорого полтинник! (*качает головой*). А ты взял бы, хошь, трехгривенный.

Архипов. Хм!.. Трехгривенный! Ты пойми, голова, надо, чтобы слезы прошибли! Уж я так напишу, что одно слово!.. опять и к жене, чай, поклон надо, то, другое, прочее! Все в одну цену ведь.

Виноторговца. Попишем!

Бурлак. Да, ведь, вот я купил косушку; четыре новых гривны, оно тоже без мало полтинник будет.

Архипов. Ну, вот что! Делать-то видно с тобой нечего, мужик-то ты больно хорош! Покупай ты еще косушку королевской да бумага, чтобы твоя была.

Бурлак (*покачивая головой*). Дорого! Да ты, смотри, пожалосливей! На ветра-то больше напирай.

Архипов. Да уж ладно! Покупай королевской и бумаги, вот у Марьи Петровны... есть? (*вбегает неизвестный человек с узлом под мышкою*).

Неизвестный человек. Марья Петровна! На два слова уходит за перегородку).

Виноторговца. Што тутя ишшо! (тоже уходит).

СЦЕНА ЗА ПЕРЕГОРОДКОЮ

Виноторговца. Ну что?

Неизвестный человек (развязывает узел и выкладывает из него разное белье). А вот что! Видела? (торжественно смотрит на нее).

Виноторговца (перебирая белье). Видела! Рубаха женская рассматривает), тонкая, ничего! (бросает и берет другую вещь). Юбка из бумазеи. Ничего (наклоняется и перебирает). Детская рубашка, кофта, мужская рубашка. Белье-то все хорошее... да еще и мокрое! Где это ты лямзил?

Неизвестный человек. Да уж дело мое! Озادков не будет, не бось!

Виноторговца. У тебя все не будет: вы что, ведь, отчаянный народ, только бы спихнуть вам, а тут и отвечай за вас (перебирает белье). Говори, где украл?

Неизвестный человек. Там, на углу... да уж полно, дай похмелиться-то.

Виноторговца (продолжает перебирать белье, говорит сама собою). Хорошо белье-то; дать, видно, за него целковый (к нему). Да где на углу-то?

Неизвестный человек. Мало целковый-то; прибавь что-нибудь.



В ХАРЧЕВНЕ

Картина маслом А. А. Попова, 1859 г.
Третьяковская галерея, Москва

Виноторговица. Где украл-то?

Неизвестный человек (*шепотом*). У Ключевых! Да дай, хоть, два-то целковых! Сделай милость!

Виноторговица (*завертывая белье*). Пошел! Пошел! Целковый да полштоф на похмелье! — будет.

Неизвестный человек. Мало, ей-богу, мало!

Виноторговица (*прячет белье подпол*). Ступай, говорят! экий дьявол.

Неизвестный человек. Да сделай милость!

Виноторговица. Ступай! Расстреляло бы те горой! (*толкает его и сама идет за ним*).

СЦЕНА В КАБАКЕ

Виноторговица (*наливая полуштоф*). Ну, на! (*снимает с себя пояс и отпирает привязанным к нему ключом ящик, достает из ящика деньги*).

Неизвестный человек (*наливая стакан, пьет и затем наливает снова, подает виноторговце*). Кушай!

Виноторговица (*подает ему тихонько деньги и берет стакан*). Будь здоров! (*пьет*).

Неизвестный человек (*наливает еще стакан, пьет и потом снова наливает, подносит Авдотье*). Дуня!

Авдотья (*берет стакан*). Ну, здравствуй! (*К Бурлаку*). Дай-ко закусить-то, душенька, чужой дружок (*заигрывает с ним*).

Бурлак (*ухмыляется*). Изволь (*достает из котомки хлеб*).

Архипов (*к Бурлаку*). Тащи косушку-то, да и бумаги покупай!

Бурлак (*подходит к буфету*). Тетя!

Виноторговица. Что тебе?

Бурлак. Бумага есть?

Виноторговица. Есть!

Архипов (*кричит из-за стола*). Бумажки листик, Марья Петровна, чернилицу, перышко да королевской косушку!

Виноторговица (*к Бурлаку*). Так бы и говорил!.. давай двугривенный за все!

Бурлак. Уж и двугривенный; чтой-то больно дорого?

Виноторговица. Ну, поди, попытай, купи чернил-то да перо, что с тебя возьмут... попытай!

Архипов. Тут, братец ты мой, лишку не берут; дело по чести делается.

Бурлак (*достает кошелек и мотает головою*). Двугривенный! Ах в рот е... А? Двугривенный!.. шабаш!! (*отдает деньги*). На двугривенный.

Виноторговица (*берет деньги, достает с полки косушку, лист бумаги и чернилицу*). Держи! (*Бурлак забирает все и несет к столу*).

(Входит квартальный, городской, купец Ключев и низенький коренастый рабочий при фартуке).

Рабочий (*показывая на неизвестную личность*). Вот этот самый, ваше благородие!

Квартальный. А-а! (*оглядывает всех. К Авдотье*). Ты здесь зачем?

Авдотья. Выпить.

Квартальный. Вон! (*Авдотья уходит*).

К в а р т а л ь н ы й (*к Архипову*). Ты что здесь?

А р х и п о в (*встает*). Письмецо мужичок просит написать.

К в а р т а л ь н ы й. Проваливай! Тут не контора (*Архипов машет мужику, и оба потихоньку выходят. Незвестный человек тоже хочет улизнуть и пробирается сзади городского к двери*).

Г о р о д о в о й (*схватывает его*). Стой!

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к. А что?

К в а р т а л ь н ы й. Ты погоди, поговори, не торопись, ступай ко мне поближе. (*Неизвестный человек подходит к квартальному; последний обращается к рабочему*). Так ты видел его? Говори, как было дело.

Р а б о ч и й. А несу я, ваше благородие, давеча коням сена, только вижу, этот самый человек шмыг из сеней и под мышкой у него узел; я и подумал, что он ходил к куфарке, потому у нас таперь куфарка новая, так може, мол, какая родня ее; так промежду глаз и спустил. Ну, только не в долгах. Слышу, кричит хозяйка, белье пропало. Я, значит, ей и обсказал все дело, и...

К в а р т а л ь н ы й. Довольно! (*к неизвестному человеку*). Слышишь?

Н е и з в е с т н а я л и ч н о с т ь. Слышу-с! Только это все неправота-с.

Р а б о ч и й. Как неправда?

К в а р т а л ь н ы й. Погоди! (*к неизвестному человеку*). Ты не вертись, а говори правду!

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к (*перебивая*). Да, ваше благородие, что мне теперь вертеться-то? Я, извольте спросить, с утра здесь.

К в а р т а л ь н ы й. Бобов не разводите!! Сказывай, где белье?

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к. Грешно, ваше благородие, обижать бедных людей! Ей-богу, грешно!

К в а р т а л ь н ы й. Сашка! (*грозит ему пальцем*). Смотри! Я тебя спрашиваю по чести, а то...

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к (*перебивая*). Да издохни душа моя! Ваше благородие, знать ничего не знаю, ведать не ведаю.

К в а р т а л ь н ы й. Одна песня! Разве я тебя не знаю!.. сколько раз уже попадался?

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к. Ваше благородие! Я человек бедный, мало ли грехов может случиться, только в этом не причастен, провалиться мне на сем месте!.. не обозреть света божьего!

К в а р т а л ь н ы й. Стой! Говори дело, а нет, хуже будет! Сознайся! прощай, ведь, я тебе, когда ты сознавался?

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к. Прощали.

К в а р т а л ь н ы й. И признавайся. Где белье?

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к. В тар-тарары провалиться! Лопни моя утроба!

К в а р т а л ь н ы й. Тьфу! Ты подлец! Ну, что божишься-то! Осел! Кто тебе поверит! Я тебя спрашиваю, где белье? Здесь, что ли?

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к (*притворяясь плачущим, трет глаза*). Что это, господи! Царь ты мой небесный!

К в а р т а л ь н ы й (*строго*). Я ж тебя спрашиваю последний раз: хочешь сказать, где белье, я прощу тебя и, вот, господина Ключева попрошу не начинать дела, а не хочешь — в острог упрячу!!

Н е и з в е с т н ы й ч е л о в е к (*на коленях*). Батюшка! Отец! Ваше благородие! Ваше сиятельство! Николай чудотворец! Ничего не знаю и невинно погибаю! (*Целует ноги квартального*). Невинно... О!..

К в а р т а л ь н ы й (*городовому*). Оттащи его! (*городовой поднимает неизвестную личность*). Слушай! Ты надеешься, что я не найду? Найду! Я знаю, что здесь все и найду! Весь кабак переверочу; понятых нагоню, тогда (*горячась*) в каторгу разбойника! В рудники! (*К винооторговнице*). Да

и до тебя, голубушка, доберусь! *(Неизвестной личности)*. Говори, ракала! Где белье?

Неизвестный человек *(на коленях)*. Отец! Отец! Виноват, прости!

Квартальный. Ну говори!

Неизвестный человек. Простите ли, батюшка, спаситель?

Квартальный. Сказал, прощу. *(К Ключеву)*. Вы простите его или дело начнете?

Ключев. Бог с ним совсем, пускай отдаст только, что взял.

Квартальный. Ну, где белье?

Неизвестный человек. Здесь, батюшка!

Квартальный *(к виноторговцу)*. Давай сюда белье! *(виноторговица мнетя и что-то мычит)*. Ну, что еще заюлила?

Виноторговица. Ваше благородие, я... я...

Квартальный. Не разговаривать!

Неизвестный человек. Давай, уж, Марья Петровна, грех пришел!

Виноторговица. Молчи, вор! Отдай мой целковый!

Квартальный. Неси, неси белье-то *(виноторговица уходит за перегородку. К неизвестной личности)*. Подай деньги!

Неизвестный человек *(вынимает из кармана деньги)*. Извольте, ваше благородие. Ничего не пропил.

Квартальный *(усмехаясь)*. Не успел, значит! *(кладет деньги в карман)*.

Виноторговица *(возвращаясь с бельем)*. Ведь он, ваше благородие, продал мне за свое. Я бы и не подумала связываться с ним, как бы знала, что он, паскуда эдакий, украл это. Порочит только честных людей *(к неизвестному человеку)*. Подай мой целковый.

Квартальный. Целковый твой у меня! Ты зайди вечером в 6 часов ко мне, да смотри же, чтобы не посылать за тобой... Поняла? *(значительно глядит на нее)*.

Виноторговица *(нехотя)*. Поняла! *(к неизвестному человеку)* У-у, ты, дьявол! Погоди! *(грозит ему кулаком)*.

Квартальный *(отдает Ключеву белье)*. Посмотрите, все ли цело?

Ключев *(рассматривает и потом запускает руку в карман)*. Все, ваше благородие! Покорнейше благодарим! *(подает ему руку)*.

Квартальный. Не на чем, не на чем! *(трясутся руками)*.

Ключев. Мое почтение. *(К рабочему)*. Пойдем, Митрей *(идут)*.

Квартальный. Прощайте *(отворачивается к окну, смотрит к себе в руку и кладет в карман)*. А ты, смотри, не забудь же вечером ко мне зайти! *(многозначительно)* Слышишь? *(К неизвестному человеку)*. А ты, гусь, пошел вон отсюда! Да смотри... берегись *(уходят)*.

Виноторговица. Вот ты говоришь. Спишь да выспишь беду-то. Приди к нему вечером! Он тебя и облупит!.., а чтоб вас драли горой, собаки! Грошика не дадут нажить, все им подай! Эка жись дьявольская!..

<1866 г.>

VIII

Вопрос об участии Слепцова в «Искре» Курочкина до сих пор оставался невыясненным. Печататься в этом журнале Слепцов, по-видимому, начал в середине 1860-х годов. Однако если учесть, что фельетон «Притчи и видения» был приготовлен для «Искры» еще в 1862 г., то следует говорить о более ранней связи Слепцова с редакцией журнала (см. об этом ниже в комментариях к «Притчам и видениям» и «Провинциальной хронике»).



АНЖЕЛИКА

(MATHS) (MATHS)

Сквозь порывы в штырь
Валюху забрызгал брызгами,
На порогу, поцелуй вбежав,
Смешал вонючую заливку.

Валюху подул из щелей,
Сквозь щелкуху во штырь,
Сыплет пылью нутрь щелей,
Вот пошвыляк и щель,
Вот пошвыляк и щель.

На балконе, как балый штырь,
Окутанный пылью,
Вонюха балый штырь,
На балконе балый штырь.

Сквозь щелкуху в штырь,
Валюху забрызгал брызгами,
На порогу, поцелуй вбежав,
Смешал вонючую заливку.

ЖУРНАЛ «ИСКРА». ЗДЕСЬ ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАН
Титульный лист и страница
«Искра», 1891

[illegible]

НА СТАНЦИИ МОСКОВСКОЙ ЧУГУНКИ

www.cvent.com/en/usa

[illegible][illegible]

ЛЕЩОВА «НА СТАНЦИИ МОСКОВСКОЙ ЧУГУНКИ»
м. рассказа

Рассказ «На станции московской чугушки» помещен в «Искре», 1867, № 24, за подписью В. С. В 1903 г. он был перепечатан в «Полном собрании сочинений» Слепцова, однако впоследствии оказался несправедливо забытым и в более поздние издания сочинений писателя не входил. В рассказе легко можно обнаружить типичные слепцовские интонации в описании народного быта. Сквозь легкий добродушный юмор писатель все время дает почувствовать повседневный трагизм жизни простого русского человека. Очень характерна фигура мужика, который «на родину-то чуть с христолубивым воинством не ушел», т. е. по этапу.

В своем рассказе Слепцов затронул один из самых больных вопросов тогдашней русской деревни — вопрос об отхожих промыслах. В 1867 г. в связи с неурожаем огромная масса крестьян потянулась в город на заработки. Новое городское законодательство, разрабатывавшееся и проводившееся в жизнь с 1864 по 1870 г., пыталось как-то упорядочить экономическое, правовое и бытовое положение «отходников», искавших работы в городах. Однако все вводимые или предполагавшиеся изменения были слишком незначительны, чтобы с их помощью можно было облегчить положение этой группы трудового народа.

В газете «Народный голос», № 89, издававшейся неким Юркевичем-Литвиновым, были опубликованы предложения особой комиссии, занимавшейся пересмотром городских доходов в Петербурге. Предложения касались установления нового порядка взимания сборов с «торговой прислуги» и «промысловых работников». Чтобы обложить налогом всех без исключения лиц этих категорий, принадлежавших в большинстве своем к «отходникам», комиссия предлагала оплачивать «адресный сбор» «под видом обязательного взятия особых жестяных знаков, выдаваемых из сословных управ или из распорядительной думы, одновременно с торговыми документами». Издеваясь над такими «серьезными» изменениями в системе городского хозяйства, Слепцов называет это предложение «великими измышлениями» «Народного голоса».

Попутно Слепцов высмеивает еще одно утверждение этой реакционной газеты. По мнению «Народного голоса», новые налоги на работников вполне им по силам, так как «самый быт их, с уничтожением крепостной зависимости, приведен несравненно в лучшее положение». Слепцов сразу же откликается:

« — Газета-то тая, слышь, сказывала, что мужички, на лето-то, что в Питер ходят, так, мол, богаты оченно стали ноне...

— Отчаво и бедным-то им быть, вестимо: коли за податью ищо и хлебы бывают у них... Какá бедность тутотка?.. Бядны, значит, коли хлеба в избах не видать... Во бядны!..»

Таким образом, первое, что бросается в глаза при чтении рассказа Слепцова, — это полемика с реакционно-шовинистическим «Народным голосом». В 1867 г. «Искра», как и раньше, активно боролась с подобными изданиями. Она называла «Народный голос» бесцветной газетой лавочников, высмеивала безграмотные редакционные статьи Юркевича-Литвинова, рекламировавшего свое издание как «сущий голос сущего русского народа».

Полемизируя с «Народным голосом», Слепцов использует характерную для этой газеты форму рассказа. Подзаголовок «Из слышанного и виденного», должно быть, находится в связи с названием фельетона в «Народном голосе», 1867, № 73, — «Виденное и слышанное». В противоположность фельетону, в котором говорилось, что «много отрадного» испытала у господ бедная девушка-гувернантка, Слепцов показал, что отрадного на Руси не найдешь ни в деревне, где мужики умирают от голода, ни в городе, где расправляется с женой «здоровенный дитина-мещанин». В стиле слепцовского рассказа тоже можно заметить элементы пародирования беллетристики «Народного голоса». Слепцов обычно очень разумно и с большим чувством меры использует в своих произведениях народные обороты речи, диалектизмы и вульгаризмы. В рассказе же «На станции московской чугушки» мы встречаемся с натуралистической передачей крестьянского языка, может быть, именно потому, что это было присуще псевдонародным рассказам «Народного голоса», которые сплошь пестрели такими выражениями: «А кажинному в рай хотца», «Звянит звонок и тройка мчитца» и т. д. (1867, № 78, от 8 апреля).

Однако идейное содержание рассказа Слепцова не ограничивается полемикой с

«Народным голосом». В нем можно найти и скрытый намек еще на одного журнального противника «Искры» — газету «Голос». Говоря об издателе, в газете которого «о пачпортах тоже писали», Слепцов, несомненно, подразумевает здесь владельца «Голоса» А. А. Краевского, имевшего на Литейном проспекте собственный дом и бывшего «анархалом» в глазах народа. Сатирические выпады против «Голоса» можно найти почти в каждом номере «Искры» 1867 г. Подчеркивая, что программа «Голоса» в сущности столь же реакционна, как и программа «Народного голоса», «Искра» в статье «Новости отечественной журналистики» писала: «... чтобы публика не смешивала „Голос“ г. Краевского с „Народным голосом“ г. Юркевича-Литвинова, статьи <...> будут излагаться александринскими стихами, по возможности с рифмами». «В „Народном голосе“ передовые статьи, не уступая в лиризме статьям „Голоса“, дабы отличаться от последних, будут излагаться тоже стихами, но уже силлабического размера, который будет признан редакцией за размер народный» (1867, № 1, стр. 15).

Таким образом, рассказ Слепцова стоит в ряду боевых произведений «Искры», в которых с революционно-демократических позиций освещалась сущность либеральных реформ 1860-х годов и велась борьба с реакцией. И характерно, что Слепцов в трудном 1867 г. использовал трибуну наиболее передового из всех оставшихся (после закрытия «Современника» и «Русского слова») органов печати — трибуну «Искры» — и сумел на ее страницах вновь высказать сокровенную мысль «Трудного времени», «Петербургских заметок», «Скромных упражнений» и других своих произведений.

НА СТАНЦИИ МОСКОВСКОЙ ЧУГУНКИ

(ИЗ СЛЫШАННОГО И ВИДЕННОГО)

Чуть ли не за три часа, если еще не раньше, до отхода пассажирского вечернего поезда, забралась, по обыкновению, в вокзал железной дороги достаточная масса серого народа, навьюченного, что вол, большими кожаными и парусинными мешками. Меж людей тех, однако ж, виднелись и такие злополучные путники, которым приходилось отправляться хотя и в дальний путь, но чересчур уж налегке; потому что все добро их укладывалось в кое-какую, очень небольшую котомочку, повешенную за спиной, наподобие солдатского ранца... В ожидании раздачи билетов на проезд по чугунке, терпеливые и всевыносливые путники усеяли собою все скамьи; а за недостатком последних даже и каменный, холодный пол... Говор и шум... ничего не разберешь; разве заметишь, что кто был весел, а кто и очень мрачно поглядывал себе на все стороны, думая думу горькую... про житье-бытье свое горемычное... Подхожу к одному углу, где поносторнее других. Сидят в том углу два земляка и ведут дружную беседу.

— Чаво, братиц ты мой, по-приятельски, значит, как молвить-то тебе, так на родину-то чуть с христолубивым воинством не ушел я... С этапом, значит, — так бы сказать... А всякая оказия-то эвта из-за пачпорта изошла: срок яму-то, пачпорту-то, значит, исходить почал... но я то, вестимо, прикупил на няво-то... ище удержался: сапожонки в ту пору купить бы надоть... не купил, значит; а норовил на пачпорт... Сроку-то ище не изойти стало, как за месяц, кажись, брату-то своему отписал: вышли, мол, Ехстихнеюшко, поскорее вышли... писарю волостному, перво слово, не скаридничай. А на писаря, значит, руб накинуд ище... Ждать, братиц ты мой, пождать — нету, как нету, — пачпорта-то, тоись...

— А може брат-от?!.

— Брат-от мой, значит к примеру, дён хошь шесть, аль больши крошки в брюхо-то не пропускайт, а николи, ни то что чужих, так и отца родного копейки не заест... брат-от... Вот он есь какой... уродился... потому со дня на день только избывает... Отсрочка изошла... нету... Дворнику косухи три спойл... как приступить-то очинно уж стал. Ноне, сказывал,

порядки-то на это самое строги очинно... хозяин-то мой, значит, и спужайся... выгнал прочь; ступай, мол, не надоть эвтаких... Отпиши я брату-то вторым письмом, значит: так, мол, и так, Ехстихнеюшко... погиб ведь здесь без пачпорта... А брат-от: во снях, мол, ты видал что-ли, что послал суды на пачпорт... Я, братиц ты мой, на почту... потерялось письмо твое, тамотка сказывали.

— На почти-то... в казенном мести-то таковом?..

— Да, на почти... Украл, значит, кто ни на есть там, аль что... Только пока дело-то тое пошло, а миня-то о той поре и схапнули... в доброе место свели... Так, мол, и так, тамотка-то сказываю я, значит... Знаем, мол, вас: баять вы сказку мастера есть... А чаво... трести миня от ужаси-то как стало, так что... Робятенки тоже... жана...

— А с почти-то что... аль все и было тутотка, что сказывали: потерялось, мол?..

— Нету... с почты-то тое... искали, вишь, миня... бумагу прислали, так выгустили... а ден-то никак семь посидел... Вот оно каково дело — без пачпорта-то здесь!..

— И газетчики разные, слышь, об эвтом же самом сказывали... писали, значит, — дворник сказывал; где жил-то я... Да, братец ты мой, верно всё не подходящее какое пишут-то, аль их и взаправду не слушают... потому люди-то, вишь, маненькие... тольки...

— Какó, братец ты мой, опять маненькие, не всеи маненькие-то; вон, к примеру сказать, у которого самово я жил... дом-от, что большущий такой, на Литейной стоит; в поддворниках жил-то я у няво; так тот, братец ты мой, какой маненькой; росту-то точно что мал, а анарал, кажись, камердир-то яво сказывал нам... В сборищах разных бываит тот-то; речи чужие, что сказывают-то, так слушаит... а дома-то другим, значит, газетчикам, что служат яму, так отписывать в газете-то своей велит; сам, вишь, к перу-то не больно охочь он... сказывали... Так в явонной газети-то о пачпортах тожи писали когда... Да всее...

— Нет, братец ты мой, Памфил, что эвти самые газетчики пишут... вестимо, надоть им тольки каким ни на есть занятием жить... вот и пишут они... Право слово!

— Не все и такие газетчики, вишь, сказывают: есть и хорошие промеж их-то... тольки, вестимо, мало; что в поли худом матерых колосьев бываит мало... хоша бы с пачпортами порешили поскорее... а то... Одна, тож газетой какой прозывается... так тая, слышь, сказывал писарь мне, — хошь ищо и народным... чем ни на есть звать ее; а тая, вишь, хочит, — чтоб мужики, — что на лето в Питер приходят, — так жестянки бы брали* окромя пачпортов, заместо адресов... вот какие из Думы ноне на извоз, да разносшикам всяким дают. Газета-то тая, слышь, сказывала, что мужички, на лето-то, что в Питер ходют, так, мол, богаты оченно стали ноне...

— Отчаво и бедным-то им быть, вестимо: коли за податью ищо и хлеба бывають у них... Какá бедность тутотка?... Бядны, значит, коли хлеба в избах не видать... Во бядны!..

— Газету-то тую, слышь, жид какой-то, аль поляк окрещенный держит... так сказывают-то право!..

— Ноне всякой народ, вестимо, за деньгу тольки что разве с крыши не соскочит наземь, а то всее давай яму... к чаму, и разуму-то нету у няво, и тое сладит... А таперя-то путину куды держишь?..

— В деревню охота попадать... вишь, отписали, что, мол, жана-то моя померла... Ну так с робятами тож сладиться надоть... Четверо их, робят-то у миня... Ноне, кажись, не пойду суды на заработки...

* Зри подобные великие измышления в № 89 «Народного голоса» — «Сбор с торговой прислуги и промысловых работников» (автор).



СЦЕНА У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Акварель В. Г. Перова, 1868 г.

Третьяковская галерея, Москва

— А брат-от? За робятами-то пушай...

— У брата своих робят семеро будит, да ищо жена восьмым ходит...
Так, значит, своим хлеба-то что тольки стает...

Меж тем три благородные джентельмена взапуски хихикают, чинно прогуливаясь по дебаркадеру. В такое веселое состояние духа юношей этих повергла одна до чрезвычайности смешная сцена. Сцену эту приняли джентельмены, конечно, от нечего делать, созерцать в окно залы третьего класса; окно как раз выходило на платформу, по которой прогуливались наши франты. За окном тем представлялась знакомая российская картина, вроде той, какие, к сожалению, все еще не перестают попадаться не только в темных и все скрывающих закоулках нашей столицы, но даже и на более видных ее местах. Вся суть занимательной картины, которая повергла в восторг молодых джентельменов, была сама по себе до крайности проста и несложна: муж, здоровенный детина-мещанин, урезонивал свою жену сильным орудием доказательства, вроде зуботычин, преподносимых мощным кулаком... Вина злополучной жены состояла в выражении сомнения и соболезнования о том, что муж ее не удержится в пути и поддастся непременно пьяному бесу... Вот и вся история. Посмеяться есть над чем будущим семейным главам, у которых резоны будут если не те же, то, по крайней мере, близко похожи на пьяную мещанскую расправу...

Зазвонил первый звонок, и густая масса серого народа, переполнявшего собою залу третьего класса, волною хлынула на платформу. Массу эту, обыкновенно, выгоняют первую; а за ней уже выплывает из других

дверей более чистая... Прощание... наказы, поклоны... Третий звонок, и локомотив, крикнув исправно, раза три сдвинул с места тяжесть, которую ему навязали, словно хвост какой... Потом стал он пыхтеть, и по мере удаления его пыхтение учащалось и, наконец, превратилось в равномерное... Так точно видал я на родной своей реке: бурлаки, бывало, окутают свои привычные плечи лямками, вздохнут тяжело и, застонав, поволокут по водяной равнине полновесные барки... С богом!

<1867 г.>

IX

Сцены «В вагоне III класса» были напечатаны в «Календаре „Искры“ на 1867 год». Это малоизвестное приложение к журналу выходило всего три года (с 1866 по 1868 г.) и представляло собою небольшие иллюстрированные книжечки с произведениями постоянных сотрудников «Искры»: В. С. Курочкина, Д. Д. Минаева, Л. И. Пальмина, М. С. Знаменского и других. Начиная с первого года издания, «Искра» печатала в декабрьском или январском номерах журнала «Краткий календарь», остроумно составленный В. Курочкиным: предвещения на Новый год, сатиро-юмористический обзор газет и журналов и т. п. Отводя значительное место «вседневной практической сатире», искровцы использовали и этот, казалось бы, безобидный раздел своего журнала для критики темных сторон русской жизни, для разоблачения пресловутого «прогресса», для полемики со своими идейными врагами. Даже излагая, например, церковное летоисчисление в статье «Поморный месяце лов», В. Курочкин обрушивался на «Северную пчелу» и «Наше время», зло высмеивал Леонтьева и Каткова («Искра», 1863, № 1, стр. 5).

В 1866 г. все статьи подобного типа были впервые объединены в отдельную книжечку и вышли в конце года как приложение к «Искре». Возможно, что уже в этом первом выпуске — «Календаря „Искры“ на 1866 г.» — принял участие Слепцов. По нашему предположению, ему может принадлежать здесь рассказ «Дорожные сборы». Однако документальными доказательствами в пользу нашего предположения мы пока не располагаем. Участие же Слепцова в следующем выпуске «Календаря „Искры“ на 1867 г.» установлено И. Ф. Масановым («Словарь псевдонимов», т. III. М., 1958, стр. 69). В этом выпуске опубликована впервые перепечатываемая здесь сценка «В вагоне III класса. (Дорожные разговоры)». Подписана сценка: В. С — в.

Произведение написано в типичной для Слепцова полудраматической форме. Это сценка-рассказ, подобная «Мертвому телу», «Сценам в полиции» и «Сценам у мирового судьи». Тематически он примыкает к раннему рассказу Слепцова «На железной дороге» и к публикуемому выше рассказу «На станции московской чугулки». Во всех этих трех произведениях использование «железнодорожной» темы позволило Слепцову дать описание пестрой и разношерстной толпы, именуемой пассажирами третьего класса. Тут и мелкие чиновники, и разорившиеся помещики, и купцы, и «дамы средней руки» (I, 61), и крестьяне с фабрики — «терпеливые и всевыносливые путники». В центре картины находится фигура купца Власа Ильича Ниточкина, самодовольство и невежество которого вызывают искренний смех представителей «чистой» половины вагона.

К концу 1860-х годов сатирическое изображение купечества все чаще появлялось на страницах демократических органов печати и, конечно, в первую очередь на страницах «Искры». Приближалось время, когда образ «чумазого», капиталистического хищника сделается одним из главных мишеней революционно-демократической сатиры. Еще в 1864 г. Некрасов говорил о купечестве писателю-юмористу Н. А. Лейкину: «... это такой быт, из которого надо писать теперь...» («Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке». СПб., 1907, стр. 186). В произведениях Слепцова образы купцов никогда не занимали значительного места. Правда, мелькали эпизодически то лавочник в «Трудном времени», то рыбный промышленник в «Письмах об Осташкове», то купец в рассказе «На железной дороге». Поэтому сцены «В вагоне III класса» любопытны уже тем, что образ купца выделяется среди других образов.

Вскрывая бескультурность и ограниченность Власа Ильича, Слепцов пытается заглянуть и в его внутренний мир, разоблачить моральные «устои» этого преуспевающего торговца «красным товаром». «Зависть-с есть грех и порок злосчастный-с», — самодовольно поучает он своих собеседников, считая, должно быть, что они тоже могут чем-то от него «позаняться». В его образе уже начинают вырисовываться черты будущего Колупаева или Разуваева. Сына своего он обучает грамоте и везет ему из Москвы в подарок книгу Басистова — прогрессивного педагога, автора популярной детской хрестоматии «Для чтения и рассказа».

По сравнению с кичливым купцом привлекательными кажутся остальные образы произведения, особенно люди из народа. Добродушно, с мягким юмором описаны фабричные мужики Парамон и Кузьма, баба, ругающая «культурного» купца, молодец-пирожник. В этом, как и во многих других произведениях Слепцова, комизм служит для создания социально дифференцированных характеристик. Рассаживаясь в вагоне, публика сразу же делится на «полированных» и «неполированных». Мужиков не считает за людей даже лакей, хвастливо заявляющий Кузьме: «Я тебе, брат, не пара».

Сцены «В вагоне III класса» так же, как и рассказ «На станции московской чугуни», свидетельствуют о том, что и после «белого террора» 1866 г. Слепцов по-прежнему оставался на революционно-демократических позициях. «Искра» в эти годы хотела взять на себя, хотя бы отчасти, функции закрытого правительством «Современника», и Слепцов, естественно, стал сотрудником этого сатирического журнала.

В ВАГОНЕ III КЛАССА

(ДОРОЖНЫЕ РАЗГОВОРЫ)

Действующие лица:

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч, чиновник, 37 лет.

Б а р ы ш н я, 23 лет.

В л а с И л ь и ч, купец, 40 лет.

Б а б а.

П а р а м о н. } Крестьяне с фабрики.

К у з ь м а. }

К о н д у к т о р.

И в а н В а с и л ь е в и ч, помещик.

П и р о ж н и к.

Н а р о д.

Л а к е й.

В одной стороне вагона, между народом, на скамейке, сидят рядом Кузьма и Парамон — оба несколько выпивши; в другой стороне сидит барышня; рядом с ней баба, против нее Иван Васильевич, рядом с ним Федор Федорович, одетый небогато. (Слышен второй звонок).

П а р а м о н (*Кузьме*). Да ты мне скажи, зачем ты не по совести делаешь?.. Тоись, зачем ты не по правилу поступаешь? Я тебе, значит, балзаму не пожалел купил, а ты чего мне пожалел? Вспомни!

К у з ь м а. Чего ты просил, я помню... Ты просил семги, я не пожалел бы. Вот тебе лопни мои глаза, — мелочи не хватило.

П а р а м о н. Я, брат, не в тебя, я ничего не пожалею (*опускает в мешок руку*). Вот только и есть пара яиц, и то не пожалею (*вынимает два яйца и хлеб*). На, вот, закуси, замори червяка-то. Оно, значит, дело-то ладней будет.

К у з ь м а. Спасибо! В Коломни сочтемся (*целуются и едят*).

(Входит Влас Ильич, в калмыцком тулупе, подпоясан шелковым кушаком. Войдя, вытирает лоб платком и надевает шапку из серых мерлушек).

В л а с И л ь и ч (*осматривает весь вагон, выбирая место*). Где же мне присесть прикажете-с?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Вот место есть. Хотите, садитесь против меня.

В л а с И л ь и ч (*садится*). Премного вам благодарны-с.

(Молчание минуты с полторы, третий звонок).

В л а с И л ь и ч. Теперича, значит, мы скоро и в путь отправимся.

И в а н В а с и л ь е в и ч. Да, минут через пять, наверное.

(Барышня вынимает маленькую книжку и начинает читать про себя).

П а р а м о н. А ты, Кузька, забыл захватить вакштафу?! Ведь не куримши всю дорогу, от скуки сбеситься.

К у з ь м а. Нет, брат, Парамошка, я себя помню. Вот пачку пыпирок в гривенник захватил. Да не знаю, каковы будут.

П а р а м о н. Были бы крепки только, а то сойдут.

П и р о ж н и к (*входит с лотком*).

С пылу,
С жару,
Горячи,
Сей-час из печи,
Встречаю,
Провожая
До самого Можая,
Всех господ уважаю.

П а р а м о н (*пирожнику*). Покаж, покаж, любезный, да скажи, что за пару.

П и р о ж н и к. Пять копеек себе, а четыре с тебе, значит, с уступкой; пожалуйста, ваше степенство, поскорей, сейчас отходит. Вот самые вкусные, горячие.

П а р а м о н (*берет четыре пирога и отдает деньги*). Ты, малый, петля будешь.

П и р о ж н и к (*идет через весь вагон к другим дверям*).

Сдобные, вкусные,
Печенья искусного
Повара Антипа,
Что в рот, то спасибо.

Господа, берите, до Коломни таких не сыщете (*выходит*).

(Слышен свист, и через минуту вагон трогается. Все набожно крестятся).

П а р а м о н (*громко, почти нараспев*). Пошел каток по рейм, едем, Кузька, ко дворам, разойдись, каток, на весь ходок.

К у з ь м а. Не ори! Ты здесь не один, не на базаре. Пожалуй, кондуктор придет и шею намылит, а то из вагона выгонит.

П а р а м о н. Нет, теперича, это ему далеко,— машина, значит, на ходу. Мы здешние порядки знаем. Сами, значит, ему покажем машину (*показывает кулак*) с другим приводом и действием.

(Входит кондуктор).

К о н д у к т о р. Господа, приготовьте билеты (*берет у каждого билет и метит щипчиками*).

П а р а м о н (*не замечая кондуктора*). Кондуктор мне что? ничего. Билет у меня есть; он мне, значит, уж (*плюет*) — вот што! Так я говорю, Кузька? Аль нет? Он кондуктор. Я плевать на него хочу и больше ничего. Я, тоись, деньги ему заплатил, он должбн меня уважением всяким уважить, и до Коломни доставить.

К у з ь м а. А вон он. Видел?

П а р а м о н (увидев кондуктора, закрывает рот рукою и смеется). Вот оказия-то.

К о н д у к т о р (подходит к нему). Ну... ты! молодец, давай билет!

П а р а м о н (вынимает из-за пазухи замиевый мешок, достает билет и подает кондуктору). Извольте! вашей милости наше почтение!

К о н д у к т о р (метит билет). Да ты, брат, будь потише, а то дальше той станции не поедешь (выходит из вагона).

П а р а м о н (иронически). Ладно!



«КАЛЕНДАРЬ „ИСКРЫ“ НА 1867 ГОД». ЗДЕСЬ ВПЕРВЫЕ
ОПУБЛИКОВАНЫ СЦЕНЫ СЛЕЩОВА «В ВАГОНЕ III КЛАССА»

Обложка с рисунком М. О. Микешина

К у з ь м а. Чего ладно? самому показали машину. Ты вот возьми мешочек, подложи под голову-то да сосни, а я покурю маленько.

П а р а м о н. И мне дай курнуть (закуривают папироски и разговаривают шопотом).

В л а с И л ь и ч (вынимает портсигар и подает Федору Федоровичу). Не употребляете-с?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Благодарю вас. Я не курю.

В л а с И л ь и ч. Мы так этим предметом балуемся-с.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Я курю, да сигары.

В л а с И л ь и ч. Пробывал-с я их, пусто возьми, курить-то, да

больно язык щиплют. Таки бросил-с. Оченно хорошо уставлен здесь такой порядок, что когда сажают в вагон людей, сортировку соблюдают. Вот теперича здесь у нас-с, образованных, значит, людей, то есть, так сказать, сорт полированных-с, в одном конце посадили, а черный народ, примерно сказать, необразованных, как вон мужики, в другом краю (*обращается к бабе*). Ты бы, молодка, шла в тот край. Что тебе тут сидеть? А то ты вот барышню беспокоишь, и здесь место совсем не твое (*обращается к барышне*). Я полагаю, она вас, сударыня, беспокоит.

Б а р ы ш н я. Совсем нет!.. Не беспокойтесь, пожалуста.

Б а б а. Ну, ты, полированный, не трожь, я тебе не замаю. Я деньги заплатила, села; значит, место мое.

В л а с И л ь и ч (*Федору Федоровичу*). По какому трахту ехать изволите?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. По тому же, по какому и вы.

В л а с И л ь и ч. Мы до Коломни-с, а оттуда в Рязань.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. И я туда...

В л а с И л ь и ч. Очень ради-с; значит, и разговор продолжать позволите-с?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Весьма приятно, если вам угодно.

В л а с И л ь и ч. Как не быть угодным,— в дороге от скуки приятно иметь обращение.

(Федор Федорович улыбается; Иван Васильевич и барышня тоже смеются).

В л а с И л ь и ч. Вот они-с изволят книжкой забавляться и время провождать-с; а я, какая досада-с, оченно люблю эту забаву, да забыл захватить. Смею-с спросить, где побывать изволили?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. А вы где?

В л а с И л ь и ч. Мы?.. Мы-с в Москве.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. А я в Петербурге.

В л а с И л ь и ч. Вот как-с, изволили быть в Петербурге! Вот, надоть полагать-с, всего нагладелись и насмотрелись, именно, можно сказать, царский город! А из каких мест-с сами будете?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Я? Я из Рязани.

В л а с И л ь и ч. И мы из тех мест-с, значит, попутчики-с.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Очень рад! Позвольте узнать, с кем имею удовольствие...

В л а с И л ь и ч. Тамошние жители-с, по торговой части, значит, из купчества-с, только из мелочного, Влас Ильич Ниточкин.— Ну как-с в Петербурге-то? Я думаю, есть на что-с наглядеться и засмотреться?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Есть на что.

В л а с И л ь и ч. Это истинная, можно сказать-с, правда!

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч (*обращается к барышне*). Я вас не обеспокою, если закурю сигару?

Б а р ы ш н я. Ничего, курите.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч (*закуривает сигару*).

В л а с И л ь и ч. А любопытно, сударь, знать, из тамошних редкостей, какие изволили видеть?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Разные видел. Вот был в Эрмитаже.

В л а с И л ь и ч. Вот как-с. Изволили быть и в ирмитаже-с!.. Ну, как супротив нашего?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Какого?

В л а с И л ь и ч. Супротив рязанского-с!.. Я думаю, так сказать, далеко кулику до Петрова дни, так-с рязанскому-то*.

(Барышня и Иван Васильевич смеются).

* В Рязани есть трактир под фирмою «Эрмитаж». — *Прим. Слепцова.*

Федор Федорович. Да разве в Рязани такой Эрмитаж, как в Петербурге?..

Влас Ильич (*перебивая*). Разумеется, милостивый государь-с, не такой; но все-таки заведение важное-с! Одним словом, опытный в этом деле человек его держит, всякое преспособление сделал: и насчет веселья, и насчет-с съестного, все есть, и насчет питья разных и других-с прочих потребных удовольствий-с, все имеется. Музыка играет, цыгане поют-с, девицы певицы из Тиролии поют — и поют-с-то под какую-то музыку, как бишь она прозывается-то... (*припоминает*). Цитрая какая-то-с, хоша вправду сказать, хуже гармонии. Негромогласная какая-то и нечувствительная... А, милостивый государь, смею спросить, какой хор цыган в петербургском-с ирмитаже-то поет?

Федор Федорович (*не удерживаясь от смеха*). Московский!

Влас Ильич. Хватский! Значит, нарочно выписали. Да ведь и народ-то они какой: прожженный, обтертый в публике, ей-богу-с! Я думаю, другая из них, хошь при каком вельможе не поробеет, поддаст так, что все жилы и суставы разойдутся... Я их раз в марьинской слышал-с, так до сей поры помню. Одно надобно сказать-с, нехорошо делают, что поют иногда такую песню, что в этой песне всех проциживают — и нашего и вашего брата-с. Ну, словом сказать, всех и каждого. Так иногда за это на них такая досада возьмет. Так бы взял их всех, да и повесил бы, как бело-рыбицу какую. Право слово-с!.. Ну, вот, к примеру сказать, поют: «Отродие купечества — изломанный аршин». Ну, какая же тут правда и удовольствие? Уж если у купца аршин с фальшей-с, то он уж, значит, не торговец и никуда не годится-с. И как начальство-с позволяет им всех и каждого так проциживать? Ей-богу-с!

Федор Федорович. В Петербурге Эрмитаж не такой, там не пляшут, не поют, а хранятся и показываются посетителям редкости разные и драгоценности. Картины знаменитые, вещи, какие император Петр Великий своеручно делал, станки его точильные и другие инструменты, и даже показывают его лошадь, на которой он ездил.

Влас Ильич. Как-с лошадь?! Неужто жива-с до сей поры?

Федор Федорович. Какое жива! Чучело!

Влас Ильич (*смутившись, взглядывает на всех и потом обращается к Федору Федоровичу обиженным тоном*). Вы, господин, не обижайте так-с! Мы ведь имеем гильдию.

Федор Федорович. Да разве я про вас говорю? Я говорю, из лошади сделано чучело.

Влас Ильич. Виноват-с! Я не смекнул маленько, невдогад. Так, значит, это тот маленький коняшка, на котором он махонький играть изволил?

Федор Федорович. Нет, большой ездил, и даже, как говорят, был на этой лошади в день сражения под Полтавою.

Влас Ильич. Вот это редкость-с! Маленьких-то коняшек мне приходилось видеть много раз, набитых соломой, для ребятишек делают, а больших-то не случалось.

Иван Васильевич (*Власу Ильичу*). Да ведь эту лошадь поставили в Эрмитаж не потому только, что будто бы редкость сделать чучело из большой лошади; а из любви и из благодарности к Петру Великому ценят и хранят остатки животного, которое на хребте своем носило великого преобразователя России и несколько раз, так сказать, выносило его из опасности в пылу сражения.

Влас Ильич. Ну, за это стоит с нее порошки-с сдувать! Хотя бы бог привел один разок на нее взглянуть! А насчет-с картин, как там показывают — даром, или платят, и что туда за вход обходится?

Федор Федорович. Даром показывают, за вход не берут.

В л а с И л ь и ч. Как это-с прекрасно! А вот к нам в Рязань раз приезжал немец — показывал картину-с с супризами, так платили-с. Я на эфтих супризах выиграл раз стальной игольник-с тульской работы с прозолотою-с, да банку парижской помады сурбалет Мусатова на Пятницкой-с. Славная картина. А там-с, в Эрмитаже, смею спросить, какие картины показывают.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. В Петербурге картин много, кроме Эрмитажа. Вот я видел славную картину: Последний день Помпеи, Брюлова.

В л а с И л ь и ч. Что-с?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Последний день Помпеи, Брюлова...

В л а с И л ь и ч. А что же-с это-с Помпей Брюлов простой человек был-с, или какой король-с и какою смертью он в сей день покончился?

(Барышня закрывает книгу и громко смеется).

В л а с И л ь и ч (барышне). А что, сударыня-с, верно, веселый анекдот изволили в книжке найти-с?

Б а р ы ш н я (продолжает смеяться). Даже очень!

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч (Власу Ильичу). Как человек? Это был город, который во время извержения огнедышащей горы Везувия был залит лавою и засыпан пеплом.

В л а с И л ь и ч. Тэк-с! А где эта гора Безумия находится-с?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Как безумия?.. Я говорю: Везувия.

В л а с И л ь и ч (плюет в сторону и попадает на платье бабы). Машина то-с больно стучит, не расслышал-с, извините-с!

Б а б а. Ты не плюй с рóзмаху-то! А то я тебе хвачу так, что тебе и плевать-то не из чего будет.

В л а с И л ь и ч (в сторону). Вот-с баба-то невежа... (обращается к бабе). Что я у тебя, глупенькая, холодильник-то испортил, что ль? Авось не салом обдал? Взяла бы да рукавом стерла бы (обращается к Федору Федоровичу). Вот-с, значит, никакого образования не имеет.

Б а б а. Ты больно образован! Как возьму да плюну тебе самому в образование-то твое!

В л а с И л ь и ч. Ну, ты, любезная, говори, да не проговаривайся! Ты не знаешь, глупенькая, как ты можешь за это ответить? Я ведь не мужик какой, а настоящий купец, хоша и третьей гильдии, меня обидеть нельзя. Да ты, глупая, пойми своим малым разумом, как можно человеку в лицо плевать. Да, что с душой толковать, только на обиду лезть.

Б а б а. Великая величка купец, чем торгуешь? Думаю, гороховым киселем.

В л а с И л ь и ч. Нет, врешь, баба безрасчетная, красным товаром.

Б а б а (громко). Видали мы твой товар-от-крысиного тканья, мышиного мытья, сандаальной окраски.

(Все смеются).

В л а с И л ь и ч (с досадой). Ну, перестань! Слышь. Не мешай любопытный разговор вести (закуривает папиросу).

П а р а м о н (прислушивается и потом говорит). Постой, Кузька! Дай пойду послушаю, что там купец говорит.

К у з ь м а. Сиди, Парамошка, на своем месте! Там тебе дела нет. А вот, кажись, скоро станция, еще выйдем.

В л а с И л ь и ч (Федору Федоровичу). Так-с этот, как вы говорите, Помпей-с был город Брюлова-с. А Брюлов-то, кто был таков? Позвольте полюбопытствовать?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Он был художник, то есть живописец, и был художник знаменитый. Он написал эту картину, изображающую Помпею в день ее гибели.

(Сидящий подле Кузьмы лакей зевает на весь вагон).

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ

«КАЛЕНДАРЯ «ИСКРЫ»
НА 1867 ГОД»

«Искра», 1866, № 51, декабрь

В оглавлении календаря указаны
сцены Слепцова: «В вагоне
III класса»



Влас Ильич. Господи! Вот горло-то, так горло-с! Позвольте узнать, как ваше имя-с и отчество?

Федор Федорович. Федор Федорович.

Влас Ильич. А вот, Федор Федорович-с, что я хотел-с у вас спросить: отчего все живописцы, почитай все художники? Вот у меня был знакомый иконописец, так ужасъ; пока, бывало, пишет — душа человек, а как кончит, деньги, значит, получит и пропадает. Недели по две дома не бывает, и в это время творит такие-то художества, что и сказать нельзя. И таким делом занимается до тех пор, пока все деньги покончатся... Так-с этот Брюлов изобразил этого Помпея в день его гибели; значит, он в тот день там был-с и все это видел!? Вот, надобно полагать, страсти-то натерпелся-с!

(Иван Васильевич едва удерживается от смеха).

(Барышня закрывается книгою и громко хохочет).

Влас Ильич. Вот, верно еще нашли-с забавную историю,— поделитесь с нами вашим веселым удовольствием-с.

Барышня. Смейтесь, сколько хотите!

Влас Ильич. Не знавши чему, как же засмеетесь-с.

Федор Федорович. Брюлов там не был, потому что он в то время еще не родился, а сочинил эту картину после, силою своего гения.

Влас Ильич. Так он ее, сочинивши, написал?

Федор Федорович. Да, прежде сочинил, а потом написал.

Влас Ильич. Так, должно быть, не в той должной справедливости.

Федор Федорович. Нет, весьма натурально.

Влас Ильич. Так голова же был-с, когда наизусть смастерил такую историю! А еще-с какие картины, смею спросить, там показывают?

Федор Федорович (улыбаясь). Еще видел картину: море, Айвазовского.

Влас Ильич. Это самое море-с я видел на практике.

И в а н В а с и л ь е в и ч. Как на практике?

В л а с И л ь и ч. Да так-с! Когда был в Таганроге-с по поручению хозяина насчет торговли.

И в а н В а с и л ь е в и ч (смеясь). А я полагал, что вы служили в матросах.

В л а с И л ь и ч. Нет-с, этого не бывало-с (обращается к Федору Федоровичу). Как бы взглянул, так бы узнал. Другой, не видавши-то, и о сходствии судить не может... А я бы, как только бы взглянул, так, значит, сличил бы — сходно, али нет. Справедливо я господин, говорю, али нет?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч (улыбаясь). Оно справедливо-то, справедливо, но только это море-то не Азовское, а изображен вообще вид моря Айвазовским.

В л а с И л ь и ч. Может статься, по книгам и по описанию-с так, как вы говорить изволите; но в тамошней стороне сплошь и рядом все называют его Азовским.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Давно вы из Рязани?

В л а с И л ь и ч. Недели с две-с будет.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Скажите, пожалуйста, как там теперь театр идет? Хороши ли актеры?

В л а с И л ь и ч. Теперешнюю зиму не знаю-с, не пришлось-с быть, а прошлую зимою играли хватски. Раз один ахтер показывал фокус такой хитрый и мудреный, что удивлению-с достойно; в него двенадцать человек солдат стреляли из двенадцати ружей всяким огнестрельным орудием, то есть и порохом-с и пулями-с... Так у всей публики волос дыбом стал, меня-с даже-с ужаси проняли, а он из груди пули-то заживо вынимает да всей публике показывает.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. А часто он там фокусы показывал?

В л а с И л ь и ч. Почитай каждый раз, как только-с киятр шел, по тому самому расчету, что к фокусам-то публика больно охоча. Оно, знаете, и в киятре-то публике приятнее сидеть, когда в глазах такие завлекательные чудеса совершаются. И об этом фокусе была афишка-с, в дердидамовый платок-с, и там было напечатано, что этот самый фокус только-с один раз видел Наполеон в Америке и, кроме его, еще никто не видел и больше не увидит. А раз так яичницу в шляпе пек.

И в а н В а с и л ь е в и ч (Федору Федоровичу). Ну, как тут не позавидовать, поневоле позавидуешь, какое чудо они видели.

В л а с И л ь и ч. Зависть-с есть грех и порок злосчастный-с. А вот как я в Москве, скажу вам-с, проштрафился! стыдно-с сказать, а грех потаить, на целый, почитай, рубль серебром-с.

И в а н В а с и л ь е в и ч. Чем же это? Позвольте узнать?

В л а с И л ь и ч. Да вот чем-с! Есть у меня мальчонко, значит, сынишка-с. Я его маленько грамоте заправил, и, надобно сказать, мальчонко учиться вышел больно пустрый... Теперь ему двенадцатый годок-с пошел, а резво читает и бойко пишет, а не больше, как года два бегал учиться-то! Провожаючи меня, пристал ко мне: тятинька, тятинька, купите мне книжку, ну я ему обещал. Вчера вспомнил, пошел в книжную лавку на Никольской. Прихожу-с, спрашиваю-с, значит, книжку. Мне приказчик, али сам хозяин, говорит, какую вам угодно, так, знаете, учливо. Я говорю-с: для мальчонка читать. А каких, говорит, лет ваш дитя? А двенадцатый годок пошел, говорю. А вот купите-с, говорит, книгу Басистова; это, говорит, книга для чтения детям весьма полезная. Вот я и купил-с. Пришел-с домой-с, то есть, в номер, стал разбирать, — глядь, она вышла книга-то не совсем ладная, так сказать, ералашная.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Чем же?

В л а с И л ь и ч. Да так-с, что же там — сказки да побасенки, больше ничего-с.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Поверьте, что вы не ошиблись, купивши эту книгу; для мальчонка эта книга очень полезная. Пусть он ее читает и даже не мешает ему кой-что из нее наизусть заучивать. Он и читать лучше будет и говорить правильнее станет.

В л а с И л ь и ч. Как так-с, неужели говорить лучше будет?

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Поверьте, правда.

В л а с И л ь и ч. Так я лучше ее передам старшему. А то, знаете ли, как-то бог дал ему язык не ладен, картавит-с.

Б а б а. Ну, уж этого никакой книжкой не умудришь поправить. Вот у нас на селе писарь каждый день книгу читает, а до старости дожил картавым.

В л а с И л ь и ч (бабе). Молчи, с тобой никто разговора вести не желает. Потому что ты, как есть, баба и ни в чем понятия и опытности не имеешь.

Б а б а. А ты, как я смекаю, куда во всем опытный и смышленный!

В л а с И л ь и ч (Федору Федоровичу). Слышите, сударь, машина-то тише пошла. Замечаете, милостивый государь, как останавливается — значит, к станции подъезжает. Вот еще тише. Последний парок выпускает. Пррру, железный соколик (вагон делает толчок), индо толкнуло!

(Кузьма с лакеем, который во все время дремал, сталкиваются голова с головой).

Л а к е й. Эй, ты, необтесанный болван! Что это ты, шутить что ль со мной вздумал? Я тебе, брат, не пара (чешет висок). Напускали сюда всякой необразованной твари.

К у з ь м а (трет лоб). Чтоб те помереть юдовой смертью!

Л а к е й. Кому? Кому ты говоришь?..

К у з ь м а. Да вот машине, слышь, больно резанула!

Л а к е й. Дьявол тебя возьми, пенек не натуральный!

В л а с И л ь и ч (Федору Федоровичу). Не угодно ли с нами-с пройтись, погреться-с, выпить рюмочку очищенного. Мы от вас позаялись и вы от нас позаймитесь.

Ф е д о р Ф е д о р о в и ч. Благодарю вас, я так рано не пью.

В л а с И л ь и ч. Как угодно-с! А мы пойдем одну хватим (выходит).

К у з ь м а (лакею). А разя я виноват? Ты для чего с своей головою да близу моей головы сидишь? Вот она и вышла оказия-то, что моя голова с твоей головой от машины столкнулись, да моя-то голова по твоей голове и прошлась.

Л а к е й. За такие, брат, камуфлеты вашему брату шею мылят.

П а р а м о н. Нет уж это далече не родня; я, брат, тебе скажу, хоть мы в банщиках не бывали, шею никому не мыливали, а станovou жилу кому, значит, надобно, поправляли. А хошь шею мылить, то мыль кондуктору, за то, зачем он плохой машиной правит и на всем бегу ее останавливает.

К у з ь м а (смеясь). Вишь, конь-то не взнуздан.

Л а к е й (трет висок). Да какой у тебя болван-то здоровый; до сих пор в себя не приду.

К у з ь м а. Ну и у твоей милости тоже крепок. Какой был хмель, так и тот, кажись, выскочил.

П а р а м о н. Вот ты серчаешь, а, гляди, в какой ты меня своей головой-то убыток ввел! Ведь парню-то теперича опять приходится башку-то хмелем накачивать. Прежний-то, говорит, выскочил. Пойдем, брат Кузька, хватим. Да попроворнее поворачивайся, а то опять скоро пойдет.

К у з ь м а (лакею). А ваша милость не угостит нас для первого знакомства по-приятельски, значит, бальзамчиком?

Лакей. Нет, брат! Не твоему носу рябину клевать, эта ягода нежная.

Кузьма. Ну на наши пройдемся, по-простому.

Лакей. Это вот натуральнее будет (*все трое выходят*).

<1867 г.>

X

Известно, что Слепцову больше всего удавались произведения из народной жизни. Внимательно прислушиваясь к разговорам простого народа, он умел выбирать из них наиболее характерное и потом с успехом использовал этот материал в своих рассказах. А. Я. Панаева вспоминала, что часто «развлекал его какой-нибудь *типичный разговор жильцов* или в коридоре крикливый голос чухонки — квартирной хозяйки» (Воспоминания. М., 1956, стр. 341. Курсив мой. — Л. Е.). Почти все рассказы Слепцова построены на острых и живых диалогах. Таков и публикуемый впервые неоконченный рассказ без заглавия, начинающийся словами «Раннею весною, на Фоминой неделе...»

С первых же страниц он привлекает читателя точной передачей деталей крестьянского быта, живостью разговоров, правдивостью образов. По художественному мастерству рассказ стоит в ряду таких слепцовских произведений как «Ночлег», «Питомка», «Свиньи». Как сказано, он не завершен, центральная фигура старика обрисована довольно смутно. Трудно догадаться, как Слепцов предполагал разрешить конфликт между стариком и его приемышем-внуком. Однако в рассказе перед нами возникает характерная картина жизни пореформенной деревни.

Рассказ можно датировать лишь приблизительно. Он записан в «седьмой тетради» (у Слепцова было несколько одинаковых тетрадей для записей, им самим пронумерованных). «Пятая тетрадь» содержит в себе часть черновой рукописи «Хорошего человека» — сцену разговора Теребенева и Сапожникова в трактире. Она была написана приблизительно в конце 1868 г. — начале 1869 г., следовательно, рассказ был создан не ранее 1869 г. Более точно датировать помогает запись на обороте последнего листа рукописи: «В Тифлисе, на Воронцовской улице, дом Лорис-Меликова». Как известно из биографии Слепцова, в Тифлисе он был в 1874 г. На этом основании относим рукопись рассказа к началу 1870-х годов.

<«РАННЕЮ ВЕСНОЮ, НА ФОМИНОЙ НЕДЕЛЕ...»>

Раннею весною, на Фоминой неделе, вдовый священник села Преображенского сидел у себя дома у окна и сумерничал: т. е. смотрел безо всякой цели на улицу, позевывал и приносил при этом какие-то неопределенные фразы, в роде того что — о-ох-хох! Боже, боже мой! Ах, ты, господи!

На улице была грязь, галки садились на церковный купол, по небу разливалась вечерняя заря. Священник встал и начал прохаживаться по комнате.

В то же время в кухне сын священника, мальчик лет 14, объяснял работнице...

В это время дверь из сеней открылась и в кухню вошел слепой старик, с маленькою босоногою девочкою. Старик оцупал вокруг себя палкою, повел вокруг слепыми глазами и стал молча креститься.

— Ты что? — спросил его сын священника.

— А мне батюшку повидать. Дома, что ли, он?

— Дома. Тятенька, к вам Архип пришел, — крикнул он отцу, не вставая с места.

Священник вышел в кухню. Слепой старик поклонился и, протянул руку, подошел под благословение.

— Во имя отца и сына, что тебе надобно?

Старик стоял, понутив голову, и как будто не решался вдруг приступить к объяснению. Священник ждал. Старик вздохнул и наконец ответил:

- По своему делу, батюшка, пришел беспокоить.
- Да что же такое? Какое дело-то?



НА ЗАВАЛИНКЕ

Рисунок карандашом В. М. Васнецова, 1870 г.

Третьяковская галерея, Москва

- Да вот хочу рассудку просить.
 - Какого рассудку?
 - Какой ваш рассудок будет. Рассудите вы нас.
 - С кем рассудить-то?
 - А вот приемыш-то мой... Изволите знать?
 - Знаю, что же он?
 - Не почитает меня.
- Священник удивился.
- Как же так это он?
- Старик вздохнул.
- Что ты станешь! Не почитает и кончено дело. Гонит вон.

— Гм. Это худо,— заметил священник.

— Пожалуйста, рассудите, на вас одна надежда,— говорил старик, с трудом опускаясь на колена.

— Полно, встань,— говорил священник, положив ему на плечо руку.

— Помилуйте, сил моих нету. Человек я убиенный...— говорил старик, стоя на коленях.

— Да встань же!

Старик встал.

— Говори толком.

— Первое дело,— начал старик,— извольте понять, тепериче как есть я ему благодетель, то должен он меня почитать...

— Ну?

— Ну, дом я выстроил, избу поставил и лошадку купил, и скотинку завел, все как должно, порядком, и мнучку свою замуж за него отдал, и самого в дом пустил, и теперь он за всю мою добродетель наплевал мне как хуже не надо.

— Гм. Ну, а внучка-то что же?

— И она туда же руку тянет! Много, слышь, хлеба ем. Ступай, говори, побирайся, кормись Христа ради, а мы тебя кормить не станем. Гонют.

— Как же так? Из своего дома гонют?

— Гонют из своо дома. Хлебушка не дают. Кабы не добрые люди — помер бы я с голоду, как есть. А что от них, от мнучат, то я другой год крохи не видал, какова есть кроха. Надсы к обедне сходил, пришел, подзакусить, признаться, малость захотел; сижу так-то и говорю: «мнучка,— говорю,— моя милая, дай ты мне хошь корочку какую ни на есть заваливающую, я в водице размочу — пожую». Как зачала она меня костить, как зачала костить. Я это слушал, слушал: ах, боже мой! заплакал, залился. Господи! За что, мол, это они меня, за что обижают? Я им последние свои крохи и те отдал: нате, мол, детушки, берите все, ну только спокойте меня, старика. Мне много не надо. Вот тебе и спокой!

— Ну, а он-то что ж, приемыш-то?

— А он — старый, говорит, ты кобель, и цена тебе грош. Вот и весь разговор. Хочу по миру итить.

Старик развел руками.

— Да ты к посреднику-то ходил?

— Ходил я к нему.

— Ну, что ж он?

— Да что, ничего мне от него пользы нет никакой. Вот от вас что будет? Одна надежда на вас. Онамедни, думаю так-то себе, потить, мол, мне к батюшке, к отцу к своему, к духовному, что мне от него будет: заступится он за меня — стану я за него богу молиться; прикажет он мне по миру итить — надену я сумочку, по миру пойду.

— На что ж тебе от своо дома по миру ийти?

— Да что делать, батюшка? Нужда моя. Что делать?

Священник задумался.

— Ты вот что, старик, ты погоди; я с твоим названным сыном переговорю, усовещу. Садись пока здесь, посиди в кухне. Вот работница сходит, позовет его сюда. Матрена, сбегай за ним.

Священник ушел в горницу, а старик сел на лавку и начал вздыхать.

— Заступница, царица небесная! Господи, помилуй!

Пока работница ходила, старик сидел — вздыхал. Немного погодя работница вернулась.

— Ну что?

— Нейдет. Есть,— говорит,— мне когда ходить?

— Да что он делает?

— Круг дому что-то убирается. Дай срок,— говорит,— уберусь, приду.

— Вот извольте видеть, батюшка: и вас-то не слушается.

Священник опять удалился к себе, работница полезла на печь, греться.

— Боже милостив..., милостив...— забормотал старик.

Наконец в сенях загремели лапти и в кухню вошел молодой губастый мужик с белым пушком на бороде. Он снял обеими руками шапку, расторопно поклонился и спросил:

— Кто меня?

— Я тебя звал,— отвечал, входя в кухню, священник.— Что ж ты, братец, нейдешь, когда я за тобой посылаю.

— А когда мне ходить? Я и то не убрамши побег.

— Ты должен быть повежливее.

— Да вам чаво надо-то? Вы сказывайте скорей.

— Погоди, поспеешь.

Священник сел на лавку и откашлянулся.

— Вот твой попечитель...

— Какой попечитель?

— Архип.

— О! Это старик-то.

— Да, так вот он на тебя принес мне жалобу, что ты не оказываешь ему должного уважения и не почитаешь.

— А вы слушайте его! Он вам наметлет.

— Замолчи! Он со слезами жаловался мне. Он тебя облагодетельствовал, ввел тебя в дом свой, а ты ему платишь за это черной неблагодарностью и сверх того ругаешься бранными словами.

— Какими словами? Позвольте. Никогда.

— Как никогда?

— Никогда я не ругался. Это он врет! Когда я его ругал?

— Как врет? Да ведь вот он, перед тобой живой стоит.

— Да что. Незамай его стоит. Это вам-то он может в диковинку, а я его знаю, старичка-то этого, довольно.

— И я его знаю хорошо по церкви. Старик богобоязненный и к храму усердный.

— Старик, как есть, он самый пустой. Вот я как об нем понимаю.

— Как же ты можешь так отзываться о своем благодетеле?

— Так и отзываюсь. Ругать я его не ругаю и не ругал никогда, прямо сказываю теперь вот при вас: нужды нет, что благодетель, ну только неверный старик, путаник, потому верить ни в чем ему нельзя, ни в одном слове.

— Вот извольте,— заговорил старик,— вот при вас...

— Постой, погоди,— сказал священник,— мы это дело рассудим.

— Что ж, рассуждайте. Мы с ним, с старичком-то, с этим, не первый год уж судимся; нас тоже добрые люди знают. Он, благодетель-то мой, кому, кому не жаловался; и посреднику, и становому, и старшине, и волостному сходу. Одним старикам мало ли на vine пропойл — все судился. Нешто хороший старик это сделает?!

— Да за что ж он жалуется на тебя?

— Да вот все, что не почитаю, слышь, его. А как мне его почитать? «Пой,— говорит,— меня чаем, вином, я,— говорит,— тебе благодетель, не то заставят меня вином поить». А где я возьму? Дай господи, только бы сытым-то быть, а то чай. Что выдумал! Нешто хороший старик скажет такие слова!

— А все-таки нужно быть снисходительным к слабостям старика, тем более для детей наших.

— Ну позвольте, батюшка, вот он — благодетель. Ну, хорошо. Вот он говорит: дом мой, скотина моя, все добро мое, ладно. Твое, так твое, мне не надо; я лопатку свою возьму и с нею из дому, от греха подальше, один, злодей, лопай добро. Я уйду, я с кнутиком уйду, скот буду пасти, потому я не боюсь ничего. Ну только как же я уйду? Согласен он будет отпустить? Никогда в жизни не согласится. Потому, что он станет делать один? Первое: над кем он станет ломаться, это раз; еще: кто за ним смотреть будет? Значит, ему расстаться со мной никак не возможно. А что теперь-то он к вам пришел, так это опять-таки с хитростью. Пришел по той причине, что очень уж непутящий стал. Его никто слушать не соглашается и помощи ниоткуда нет, вот и задумал он по миру идти. Задумал, задумал, ну только, как ему уйти от своего дому, от хозяйства. Уйти-то, главная вещь, никак не способно. Вот он и ходит, всем клянчит, что быдто, как я его из дому гоню, из своего, из родного угла, разбойник-приемыш, слышь, выгнал, за все, за его добродетели, на старости лет убогова, взял да по миру пустил. Вот вам и хитрость его вся тут, вот вы и рассуждайте.

Священник задумался. Старик молчал.

— Так как же старик, а? — спросил, наконец, священник. — Слышь, что приемыш-то твой говорит?

— Слышу, — со вздохом отвечал старик.

— Что ж ты теперь скажешь?

— Да что мне говорить? Мне говорить нечево.

— Стало быть приемыш-то правду говорит?

Выйдя от священника, старик велел девочке вести себя вдоль села; на повороте, за мостом он остановился и спросил:

— Постой, где тут Ключев двор?

— Это дядь Мысеев-то? — спросила девочка.

— Ну да. Знаешь Мысеев двор? Знаешь. Так води к окошку.

Старик ощупал окно и постучал.

— Мысей дома что-ль?

В избе кто-то закричал:

— Дома; он на дворе убирается.

Старик вошел во двор. Мысей, тоже человек немолодой, выдвигал из-под навеса телегу и, завидя слепого, не очень ласково спросил:

— Ты что, дедушка Архип?

— Поедем в г<ород>.

<Начало 1870-х годов>

Автограф. ИРЛИ, Р. III, оп. 1, № 1921.

XI

Публикуемый набросок представляет собою начало рассказа, задуманного Слепцовым, вероятно, в 1870-х годах. Точно датировать его трудно.

Слепцов дает сатирическое изображение пестрой столичной публики, скучающей летом в городе, показывает ее безыдейные низменные интересы. Тема эта — тема педринского «Дневника провинциала в Петербурге» — довольно редка в творчестве Слепцова. Привилегированные слои общества он описал лишь на выставке любителей российского садоводства (см. очерк «На выставке» — I, 227—238). Обычно жизнь высших классов не отражалась в рассказах и очерках Слепцова, где почти безраздельно царилла Россия крестьянская и Россия «маленького человека». Публикуемый набросок интересен именно тем, что показывает обращение Слепцова к принципиально новой для него теме.

Сохранившийся небольшой набросок позволяет судить о том, что всех почтенных господ, заполняющих концертный зал в здании минеральных вод, Слепцов избрал в качестве мишени для острой сатиры. «Постоянный» состав зала доказывает общность интересов всех этих помещиков, военных и чиновников из министерств. Все они объединены стремлением пошло развлечься, послушать фривольные французские песенки, исполняемые девицей Финетой, и от этого все кажутся на одно лицо. Действие рассказа происходит, по-видимому, в Петербурге, в известном заведении искусственных минеральных вод Излера, существовавшем с 1834 г. Это было излюбленное место увеселений состоятельной части петербургского общества. Однако описание обрывается в самом начале.

Сохранились три черновых рукописи наброска, представляющих собой три варианта одного и того же текста. Первый из них (с большим количеством вычеркиваний и исправлений) Слепцов начал перебеливать чернилами, но, написав несколько строк, стал опять править карандашом и бросил на словах: «Свежий человек, войдя сюда...» Оба эти варианта начинались фразой: «В здании искусственных минеральных вод, как всегда, был увеселительно-музыкальный вечер...» Мы публикуем третий вариант наброска, очевидно, являющийся последним. Он написан карандашом и местами сильно правлен, но все-таки имеет вид более отделанный, чем первый вариант. В основном текст обеих черновых рукописей приблизительно сходен. Правда, в первом варианте вместо девицы Финеты публика восторгалась идущей на сцене французской комической пьеской с пением и танцами. «Сейчас же видно было, что собственно драматическая сторона — здесь дело постороннее, и что весь интерес сосредоточивался главным образом на пении куплетов, двусмысленностях и на поднимании ног». В последнем варианте, который мы публикуем, Слепцов несколько сократил первый абзац и начал рассказ более лаконично и выразительно.

<«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, ЯРКО ОСВЕЩЕННЫЙ ГАЗОМ...»>

Концертный зал, ярко освещенный газом, был битком набит публикою. Свежий человек, войдя сюда, вероятно, затруднился бы по одному только наружному виду определить, что это за люди и с какой радости так много набралось их в этот концертный зал.

Тут были люди всех возрастов, начиная с самых юных, только что оперившихся корнетов в новых мундирах, и кончая старцами, утратившими способность не только наслаждаться, но даже закрывать рот. Тут были всевозможных званий и профессий люди: чиновники разных ведомств, коммерсанты, мировые судьи, ростовщики, адвокаты, приказчики, приезжие по делам помещики, французские куаферы и, наконец, какие-то неизвестные, тем не менее со всем светом знакомые русские люди. При этом особенно бросалось в глаза преобладание мужского элемента: женщин вообще было немного; при том же дамы в ложах казались как-то уж слишком нарядными и чересчур развязными; зато военных было много и преимущественно из полков, отличающихся необыкновенным количеством пуговиц и пестротой мундира. Офицеры занимали самые видные места и держали себя как дома, впрочем и штатские, кучками сидевшие в лучших ложах и в первых рядах кресел, тоже не очень церемонились. Они садились задом к сцене, разговаривали между собою и посылали дамам воздушные поцелуи.

Обозревая эту пеструю толпу, скорее всего следовало бы предположить, что это просто случайное собрание людей разных сословий и что между ними нет ничего общего. Но приняв во внимание источник, к которому все эти господа собрались утолять свою жажду, можно было отчасти догадаться, что собрание это не совсем случайно, что, несмотря на внешнее различие, у всех одна общая потребность, одна цель, следовательно, они друг другу не чужие; одним словом, что это своего рода компания и

даже, если хотите, — компания уже слегка подгулявшая, так как был 12-й час ночи и представление приближалось к концу.

И действительно, вся эта компания состояла из лиц одной категории с одним общим характерным признаком, которым обладал каждый, сидевший в зале, несмотря на различие званий, занятий и состояний. Это все был народ бездомный, это были люди, или еще не успевшие свить себе гнезда, не имеющие своего собственного домашнего очага, или же люди, которые имели прежде нечто подобное, но не умели и не могли усидеть в нем.

И действительно, это была своего рода компания, несмотря на то, что большинство даже не было лично друг с другом знакомо; но тем не менее постоянный посетитель мог быть вполне уверен, что каждый вечер непременно встретит всю компанию в полном составе: если сегодня нет вчерашнего гусара, зато на его место непременно явится другой, совершенно такой же кирасир, так же развалится в креслах, загремит саблей, начнет ковырять в носу и за ужином потребует бутылку шампанского, если завтра не явится сегодняшний *mon cher* из Министерства внутренних дел, то завтра на его место явится другой *mon cher* из Министерства финансов, в таком же зеленом галстуке, с таким же стеклышком в глазу и совершенно так же будет класть ноги на стул.

Вчера был помещик, приезжий из Калуги, завтра будет помещик из Рязани и т. д. Одним словом как комплект, так и личный состав этой компании остается неизменным, несмотря ни на погоду, ни на изменение репертуара, несмотря ни на какие события.

На маленькой сцене концертного зала девица Финета пела французскую песенку. Песенку эту публика слышала уже 100 тысяч раз, однако это нисколько, по-видимому, не мешало ее успеху: публика рукоплескала, топала ногами и заставляла повторять. Песенка была не бог знает какая, смысла в ней, как и во всякой французской песенке, было не много; но зато в ней было очень много двусмысленностей и еще чего-то такого, что для всякого взрослого человека, даже и совсем не знающего французского языка — совершенно понятно. Это была вечно юная песня любви, не лишенная даже некоторой, своего рода, трактирной поэзии.

Притом же пела ее Финета, пела так, как может петь изнывающая в клетке сладострастная канарейка. Она щебетала и захлебывалась от избытка канареечной страсти, она протягивала к кому-то свои белые круглые руки, она искала кого-то, она билась и замирала в чьих-то невидимых объятиях. И в это время каждому начинало казаться, что эти руки протянуты к нему, что она ищет его, что она бьется и замирает в его объятиях. Обаяние, производимое песенкою было таково, что даже...

<1870-е годы>

Автограф. ИРЛИ, Р. III, оп. 1, № 1924.